Пространство перевода

ШАРЛЬ БОДЛЕР

ЦВЕТЫ ЗЛА



Перевод
АДРИАНА ЛАМБЛЕ

Цветы зла
Шарль Бодлер

Аннотация
Шарль Бодлер. (1821–1867). Цветы зла
Е. Витковский. Наследие Бодлера
ЭПИГРАФ К ОСУЖДЕННОЙ КНИГЕ
ЧИТАТЕЛЮ
Сплин и идеал
  БЛАГОСЛОВЕНИЕ
  АЛЬБАТРОС
  ВОСПАРЕНИЕ
  СООТВЕТСТВИЯ
  «Мне память дорога эпох тех обнаженных…»
  МАЯКИ
  БОЛЬНАЯ МУЗА
  ПРОДАЖНАЯ МУЗА
  ДУРНОЙ МОНАХ
  ВРАГ
  НЕУДАЧА
  ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ
  ЦЫГАНЕ В ПУТИ
  ЧЕЛОВЕК И МОРЕ
  ДОН ЖУАН В АДУ
  НАКАЗАНИЕ ГОРДОСТИ

КРАСОТА
ИДЕАЛ
ГИГАНТША
ЗАПЯСТЬЯ
МАСКА
ГИМН КРАСОТЕ
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ
ВОЛОСЫ
«Как небо я тебя ночное обожаю…»
«Всё человечество зовешь под сень алькова…»
SED NON SATIATA
«Одежды светлые ее текут волной…»
ПЛЯШУЩАЯ ЗМЕЯ
ПАДАЛЬ
DE PROFUNDIS CLAMAVI
ВАМПИР
ЛЕТА
«С Еврейкой гнусною на ложе засыпая…»
ПОСМЕРТНОЕ РАСКАЯНЬЕ
КОШКА
DUELLUM
БАЛКОН
ОДЕРЖИМЫЙ
ТЕНЬ
«Даю мои стихи тебе, и если звон…»
SEMPER EADEM

ВСЯ
«Что скажешь ты, душа, скорбевшая напрасно...»
ЖИВОЙ ФАКЕЛ
ТОЙ, ЧТО СЛИШКОМ ВЕСЕЛА
ПРЕВРАТНОСТЬ
ПРИЗНАНИЕ
ДУХОВНАЯ ЗАРЯ
ГАРМОНИЯ ВЕЧЕРА
ФЛАКОН
ЯД
ПАСМУРНОЕ НЕБО
КОШКА
ПРЕКРАСНЫЙ КОРАБЛЬ
ПРИГЛАШЕНИЕ В ПУТЬ
НЕПОПРАВИМОЕ
БЕСЕДА
ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ
ОДНОЙ МАДОННЕ
ПОПОЛУДЕННАЯ ПЕСНЯ
СИЗИНА
FRANCISCAE MEAE LAUDES
КРЕОЛКЕ
MOESTA ET ERRABUNDA
ПРИЗРАК
ОСЕННИЙ СОНЕТ

ПЕЧАЛЬ ЛУНЫ
КОШКИ
СОВЫ
ТРУБКА
МУЗЫКА
МОГИЛА ПРОКЛЯТОГО ПОЭТА
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА
ВЕСЕЛЫЙ МЕРТВЕЦ
БОЧКА НЕНАВИСТИ
НАДТРЕСНУТЫЙ КОЛОКОЛ
СПЛИН. («Февраль нахмуренный на целый город злится...»)
СПЛИН. («Не больше б помнил я, проживши ряд веков...»)
СПЛИН. («Похож на короля дождливой я страны...»)
СПЛИН. («Когда нависшие, как крышка, давят тучи...»)
НАВАЖДЕНИЕ
ЖАЖДА НЕБЫТИЯ
АЛХИМИЯ СТРАДАНИЯ
СОЧУВСТВЕННЫЙ УЖАС
САМОИСТЯЗАТЕЛЬ
НЕИЗМЕНИМОЕ
ЧАСЫ
МОЛИТВА ЯЗЫЧНИКА

КРЫШКА
НЕПРЕДВИДЕННОЕ
ПОЛНОЧНАЯ ИСПОВЕДЬ
ПЕЧАЛЬНЫЙ МАДРИГАЛ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ
МАЛАБАРКЕ
ГОЛОС
ГИМН
МЯТЕЖНИК
ГЛАЗА БЕРТЫ
ВОДОМЕТ
ВЫКУП
ДАЛЕКО ОТСЮДА
РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАКАТ
БЕЗДНА
ЖАЛОБЫ НОВОГО ИКАРА
ЗАДУМЧИВОСТЬ

Парижские картины

ПЕЙЗАЖ
СОЛНЦЕ
РЫЖЕЙ НИЩЕНКЕ
ЛЕБЕДЬ
СЕМЬ СТАРИКОВ
СТАРУШКИ
СЛЕПЦЫ
ПРОХОЖЕЙ

СКЕЛЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ
ИГРА
ПЛЯСКА СМЕРТИ
ЛЮБОВЬ ОБМАНА
«Я помню до сих пор, соседка и подруга...»
«Служанка верная, внушавшая вам ревность...»
ТУМАНЫ И ДОЖДИ
ПАРИЖСКИЙ СОН
УТРЕННИЕ СУМЕРКИ
ОСКОРБЛЕННАЯ ЛУНА
Вино
ДУША ВИНА
ВИНО ТРЯПИЧНИКОВ
ВИНО УБИЙЦЫ
ВИНО ОТШЕЛЬНИКА
ВИНО ЛЮБОВНИКОВ
Цветы зла
РАЗРУШЕНИЕ
МУЧЕНИЦА
ЛЕСБОС
ОБРЕЧЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ. («Под лаской тусклых ламп, с дурманом сладким слитой...»)
ОБРЕЧЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ. («Лежа как тихое, задумчивое стадо...»)
СЛАВНЫЕ СЕСТРЫ

ФОНТАН КРОВИ
АЛЛЕГОРИЯ
БЛАГОДАТНАЯ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ВАМПИРА
ПОЕЗДКА НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ
ЛЮБОВЬ И ЧЕРЕП
Мятеж
ОТРЕЧЕНЬЕ СВЯТОГО ПЕТРА
АВЕЛЬ И КАИН
ЛИТАНИИ САТАНЫ
Смерть
СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ
СМЕРТЬ БЕДНЯКОВ
СМЕРТЬ ХУДОЖНИКОВ
КОНЕЦ ДНЯ
СОН МЕЧТАТЕЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Е. Витковский. Швейцарская легенда

Аннотация

Стихотворения из «Цветов зла» — великой книги великого французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867) — переводили многие, но немногим удалось перевести ее полностью.

В 1929 г. в Париже был издан перевод, выполненный выходцем из Швейцарии Адрианом Ламбле. Книга «сделана очень тщательно и, видимо, с большой любовью. <…> Перелистывать и читать ее приятно. На ней лежит отпечаток общей культурности. Есть в ней слабый, но все-таки еще не окончательно исчезнувший отблеск одного из самых глубоких дарований, которые когда-либо были на земле», — писал о ней Г. Адамович. Более 80 лет работа Ламбле оставалась неизвестной российскому читателю, да и о самом переводчике знали лишь специалисты. Теперь этот полный перевод «Цветов зла» возвращается на вторую родину Адриана Ламбле — в Россию.

Электронное издание, дополненное.

Шарль Бодлер
(1821–1867)
Цветы зла

В переводах Адриана Ламбле

Париж
1929

Е. Витковский
Наследие Бодлера

Шарль Бодлер, видимо, не может быть причислен ни к одной литературной школе. Он — та часть, которая больше целого по законам синэргетики. Очень легко составить тянущийся на десятки имен список поэтов, которых можно назвать «бодлерианцами» (или «проклятыми» по слову Верлена — списки совпадут); его самого можно считать разве что добровольным учеником американца Эдгара По, переводам из которого Бодлер добровольно отдал почти семнадцать лет жизни и который, в свою очередь, стал значительно более известен за пределами родины благодаря Бодлеру. Можно называть Бодлера поздним последователем романтизма, предшественником символизма, участником антологий парнасской школы, — всегда это будет правдой, но не отразит всех граней того более значительного явления, имя которому — Шарль Пьер Бодлер. Переболеть им обречен каждый, кто хоть немного соприкоснется с поэзией нового времени.

Удивительней всего то, что Бодлер как поэт и в целом как художник слова полностью реализовался: если считать началом его серьезного творчества сонет «Креолке», написанный в 1841 году, — о нем ниже, — а концом — пребывание в Бельгии, эпизод, когда 3 апреля 1867 году он упал на ступени храма в Намюре — выйдет, что на творчество у него было около четверти века. Виктору Гюго для того же понадобилось почти семьдесят лет, но в итоге история и литература поставила их рядом. Кстати, этим счастливым качеством вплоть до смерти Ростана и Аполлинера в 1918 году счастливо обладали многие французские поэты, и не только поэты.

Шарль Бодлер родился в Париже в 1821 году.

Его отец, Франсуа Бодлер, начальник канцелярии в наполеоновском сенате, сам был художником (писал гуашью); он был старше матери Шарля на тридцать четыре года, имел жизненный опыт — он и священником побывал, и сложил с себя сан, и женился, и обрел старшего сына, будущего адвоката Клода-Альфонса, и овдовел, и вновь женился на бесприданнице, на двадцатипятилетней Каролине Аршанбо Дюфаи. Жаль, но умер отец, когда будущему автору «Цветов зла» было только неполных шесть лет;

мать годом позже опять вышла замуж, не выждав положенного срока траура, однако майор (точнее — *комендант*) Опик, человек лишь на несколько лет старше матери Бодлера, быстро делал карьеру: он рос в чинах, стал благодаря военным действиям в Алжире подполковником, позже генералом, послом в Константинополе, в Испании, затем сенатором, — он удерживался при любой власти, только Наполеон у него был другой — не Великий, а, по крылатому слову Виктора Гюго, «*Малый*». Конфликт с этим человеком, а следовательно — и с матерью на долгие годы сказался на судьбе и на творчестве Бодлера: в юности Бодлер писал стихи, но от них быстро и решительно отказался — самое раннее из вошедших в его «главную» книгу написано лишь на двадцать первом году жизни. На создание же книги даже в первом ее варианте ушло еще около пятнадцати лет. Первое относительно зрелое стихотворение Бодлера («Несовместимость») датировано 1837 годом, — но и оно попало у Бодлера в «ювенилию»; опубликовано оно посмертно, в 1872 году, когда жизнь поэта окончилась, когда вокруг него стала нарастать легенда за легендой.

В 1837 году учащийся второго класса королевского коллежа Людовика Святого в Лионе

получил вторую премию на общешкольном конкурсе латинской поэзии. Одно латинское стихотворение почти через тридцать лет войдет в книгу Бодлера «Осколки „Цветов зла“»: эта трогательная рифмованная, чуть ли не средневековая латынь едва ли интересовала Бодлера последних лет жизни. Видимо, это было эхо обучения в Лионском коллеже: интересно то, что поэт от него не отказался.

…Юный пасынок бригадного генерала (на 1839 год) Опика решительно не желал учиться, — хотя с трудом экзамены на звание бакалавра все же сдал. Но на том его карьера и кончилась: ни юристом, как старший брат, ни тем более военным, как отчим, он быть не хотел, только в долги влезал, только жаждал жить сам по себе. Он влезал в долги, путался с девицами самого дурного толка, в итоге — подхватил сифилис, бледную немочь на языке позапрошлого столетия, что относительно успешно скрывал, покуда болезнь не сказала свое слово. Никакой серьезной поэзии у него еще не было за душой, — пропади он где-то в те времена, мы бы нынче имени его не знали. Но судьба поступила с ним по классическому рецепту вольтеровского Панглоса — «все к лучшему». Трудно сказать — сколько поэтов в таком положении на

самом деле сгинуло. Бодлер — не сгинул.

Мать, отчим и старший брат решили выбить из строптивого юноши поэзию и прочую романтическую дурь, они, не ведая, что творят, отправили его в самое романтическое из возможных путешествий — в Индию. Юноша поплыл на тихоходном судне «Пакетбот Южных Морей» вокруг Мыса Доброй Надежды, за Мадагаскар, на Маврикий — и на Реюньон, на остров, где происходит действие романа Жорж Санд «Индиана» (1832): интересно отметить, что несомненно знакомый с этой книгой Бодлер впоследствии саму Жорж Санд терпеть не мог, хотя и писал ей письма. У юноши были свои представления о том, что такое Восток. Если говорить кратко, это было такое место, куда он не хотел (правда, то самое, что попадало с Востока в Париж, гашиш, точнее, ныне вышедший из употребления алжирский давимеск он в сороковые годы основательно распробовал). На судне он достиг острова. Там Шарль провел некоторое время, но именно оттуда капитан «Пакетбота» Сализ, горюя о теряемых деньгах, отправил его матери и отчиму письмо, где извещал, что юноша дальше плыть отказался и через Бордо возвращается в Париж на судне «Альсид». С 9 июня 1841 по 15 февраля

1842 года совершил Бодлер свое единственное в жизни дальнее путешествие «Бордо — Реюньон — Бордо». Для потомков важно то, что было в промежутке, надо помнить, что земля февраля Реюньона, вулканического острова, одного за другим дарила Франции и миру больших поэтов: Эвариста Парни (без него немыслим Пушкин!), Леконта де Лиля, Огюста Лакоссада, Леона Дьеркса. Без столь экзотического путешествия, надо полагать, гений Бодлера творил бы совершенно иначе, и скорей всего — он был бы беднее.

Да, все началось именно в Индийском океане: Бодлер отплыл из Бордо «в Индию»; в сентябре 1841 года двадцатилетний Шарль Бодлер отправил с Бурбона (тогда еще так именовался остров Реюньон) на незадолго до того посещенный Маврикий сонет «Креолка». Сонет был адресован госпоже де Брагар, в гостях у которой и у ее мужа побывал Бодлер незадолго до того. В Калькутту поэт не доплыл; принято считать, что у него «деньги кончились»: эта версия восходит к словам Бодлера в его же письмах к матери, а доверять ли им? Вероятно, не стоит. Вероятнее версия, что возвращение было собственной идеей Бодлера: в Индии ему делать было решительно нечего: экзотических впечатлений ему и Маскаренские

острова предоставили достаточно. Он решил вернуться, видимо, подсчитав, что будет во Франции примерно к своему совершеннолетию, вступит в права наследования и сможет более не слушать приказов отчима. Так на какое-то время и случилось, однако тропические острова оставили в душе и творчестве Бодлера важный отпечаток. Очевидно при этом, что позднее они сблизили его с лучшим из выходцев с Реюньона, главой парнасцев — Леконтом де Лилем.

Проведя девять месяцев «в Индии», феврале и марте следующего года автор вернулся в Париж; 3 марта, благодаря счастливой жеребьевке, не был призван в армию (отчим явно ожидал другого результата); 9 апреля Шарль Бодлер достиг совершеннолетия и смог ступить во владение своей долей наследства, доставшегося от отца; он получил 75 000 франков, некоторое количество земель и акций, до лета 1844 года он считал себя богатым человеком. И как всегда в таких случаях бывает — ошибался. Этот год стал для него кризисным: Бодлер растратил почти половину отцовского наследства. К тому же молодой человек стал распродавать свою земельную собственность, — в июле 1844 мадам Опик, родичи — его матушка, отчим-бригадир и старший брат

добились судебного постановления: Бодлер был лишен права тратить свой капитал, его наследством с сентября могла распоряжаться лишь мать и нотариус Ансель; самому Бодлеру пожизненно причитались только проценты, 2200 франков в год. Надо отметить, что грабежа тут не было, сразу после получения наследства его чистый доход был на 400 франков меньше этой суммы.

Около 40 франков в неделю. Квартира на набережной Бетюн, на острове Сен-Луи, где поэт поселился в 1842 году, хотя и на первом этаже, и однокомнатная, стоила 225 франков. Это было дорого. Бодлер недолго жил в первой своей независимой квартире. Ее он скоро покинул. Воспользовавшись тем, что располагавшийся на том же острове Сен-Луи «дворец» Лозена перешел в руки барона Пишона, разбившего его на квартиры и предложившего их для сдачи внаем, Бодлер переехал туда: именно там он и старший товарищ по искусству и бедности Теофиль Готье основали «Клуб любителей гашиша», подаривший им какие-то минуты наркотического счастья. В том же клубе, кстати, возник и был скоро написан «Граф Монте-Кристо», — Дюма-отец, как и многие другие прославленные писатели, нередко бывал здесь. Но после ареста отцовского наследства де-

нег у Бодлера осталось всего ничего, он съехал и оттуда: он писал своему квартировладельцу: *«Милостивый государь, я колю дрова в моем салоне и таскаю за волосы свою любовницу. Подобное случается у всех, и я не вижу причин, почему вас это должно беспокоить»*. Видимо, барон согласен был примириться с гашишем, но не с колкой дров в гостиной. Бодлер не мог платить ему вообще.

В 1843 году он впервые напечатался, позже, в 1845, но уже за подписью «Бодлер-Дюфаи» он опубликовал в журнале «Артист» сонет «Креолке», написанный именно во время недобровольного путешествия «в Индию» в 1841 году— сонет был послан с Бурбона на Маврикий госпоже Брагар, — таким образом, начался поэт задолго до 1857 года, до издания главной его книги. И девять месяцев в море бесследно для его мрачного творчества не прошли.

Безденежье Бодлера, никогда, кроме двух лет после получения наследства, его не покидавшее, отражено в творчестве, хотя и очень опосредованно. Париж, город Бодлера, известен также и тем, что Бодлер жил в нем более чем по сорока адресам: поскорее сбегал, когда очередная, по его же выражению, «падаль-домовладелица» требовала денег за жилье. Периодически случалось и так,

что переночевать Бодлер мог только в публичном доме. Если вспомнить, какая болезнь не покидала его, заново оценишь мрачную иронию некоторых его стихотворений, — и даже названий. Однако главные адреса Бодлера — на острове Сен-Луи, первый, на первом этаже, другой, под самой крышей дворца Лозен. Здесь он прожил около двух лет, здесь написал изрядную часть «Цветов зла», здесь встречался со своей главной любовью — квартеронкой с Гаити Жанной Дюваль, актрисой и алкоголичкой. В письмах к друзьям он иной раз даже называл ее своей женой… но Бог избавил: это лишь мерещилось: ему снился некий фантазм, потом уже наяву раздавался резкий шум — поэт просыпался в холодном поту — это Жанна зачем-то двигала мебель. Конечно, жил он на набережной Вольтера, — правда, кто только на ней не жил, от самого Вольтера до Оскара Уайльда, и все случайные жилища, в которых пришлось ночевать Бодлеру едва ли можно найти нынче в Париже, чтоб украсить их мемориальными досками с сомнительной в смысле точности и еще больше сомнительной в смысле престижа информацией. Но таков был Париж, таков был поэт Парижа, декларативно не любивший природу, ислам, Америку и вообще все, чего нет в

Париже, чему там, с его точки зрения, не было места. Без ощущения Парижа — ничего не понять в поэзии Бодлера.

Бедность обрекала Бодлера на поиски дополнительных средств, он начал писать статьи о живописи, о литературе, прежде всего о любимом Эдгаре По, которого параллельно остальным занятиям деятельно переводил. Переводил не по заказу, а по зову души: «*Я хочу, чтобы Эдгар По, которого ни во что не ставят в Америке, стал великим человеком во Франции*» — писал Бодлер Сент Беву после выхода первого тома переводов). И поэзию, а еще более того — прозу Эдгара По французские издатели приняли: даже платили больше. Но Бодлер того и хотел, для него Эдгар По был настоящей иконой.

С апреля 1845 года, когда в публикации Бодлер впервые поставил под опубликованным стихотворением фамилию «Бодлер-Дюфаи», начинается формальная литературная карьера будущего автора «Цветов зла», его известность; заметим, что фамилию «Дюфаи» он добавил к собственной, видимо, в расчете на то, что мать этот жест оценит. Едва ли она его *поняла*: псевдоним не прижился. Читала ли матушка стихи вообще? О талантливости сына она позже спросила Мак-

сима Дюкана, которому посвящено «Плаванье». Спросила на приеме в Константинополе: Дюкан лишь кивнул, боясь рассердить посла, генерала Опика. Трудно сказать, что подумала в этот миг мать великого поэта. В силу того, что сделал ее мужа послом другой поэт, министр иностранных дел Франции Ламартин, совсем без внимания этот факт едва ли остался.

Поэт впадал в отчаяние. — оно, возникнув на почве бедности, многих поэтов довело до самоубийства. В свои двадцать четыре года счел подобный выход наилучшим и Бодлер. 30 июня 1845 года он написал письмо нотариусу Анселю, ведшему его дела, где отдавал инструкции о том, что делать, когда он будет уже мертв. Всё оставшееся после уплаты долгов поэт завещал Жанне Дюваль, своей темнокожей подруге. Но незадачливый самоубийца всего лишь нанес себе неглубокую рану в грудь. Дело было в кабаре, подоспел врач, не сильно пострадавшего поэта отнесли на квартиру к Жанне. Очень быстро его забрала оттуда матушка и перевезла к себе: через двадцать с небольшим лет точно так же она привезла его, уже находившегося на пороге смерти, в Париж из Бельгии. Но поскольку рана была мелкая, через несколько дней неудачливый

самоубийца от матери сбежал, прихватив с собой «сундучок с обувью, бельем и двумя черными галстуками», — и книгами, само собой. С этого времени начинается его странствие с квартиры на квартиру, подарок исследователям его творчества с точки зрения путешествия «по бодлеровским местам Парижа».

Весной 1848 года отчим Бодлера получил генеральское звание, — после того, как быстро перешел на сторону республики. Несмотря на это, в июне в легком подпитии Шарль бродил с двустволкой вокруг баррикад и чуть ли не кричал повстанцам, чтобы они непременно «расстреляли генерала Опика». Но в июле баррикадный огонь угас, оставив в душе молодого поэта не столько настроение бунтаря, сколько еще более жаркую, чем прежде, любовь к живописи Эжена Делакруа. А генерала вошедший в правительство Ламартин отправил послом Франции в Оттоманскую империю, в Константинополь.

Денег Бодлеру, несмотря на подработку публикациями, всегда не хватало. В заметно более позднем письме актеру Ипполиту Тиссерану от 28 января 1854 года поэт писал: «*У меня ни единого су, в буквальном смысле; 20, 25 франков означают для меня, когда я заперт, как сейчас, неделю жиз-*

ни». Если вспомнить, что накануне отправки в Индию несостоявшийся студент Сорбонны за два месяца наделал долгов на две тысячи франков, что равнялось годовой ренте его матери после смерти отца, — станет ясно, что с деньгами у Бодлера отношения были не лучшие. И не случайно его первым серьезным эссе была зарисовка с натуры: эссе «Как вы платите долги, если вы гений» (1845): лирический герой зарисовки морщил лоб, как *шагреневую кожу*, — иначе говоря, Бальзак в данном случае был безусловным источником вдохновения для Бодлера. Важно, что за подписью «Бодлер-Дюфаи» зарисовка была опубликована в августе 1846 года, но годом раньше — вовсе без подписи в другом месте. Надо думать, гонорар он получил дважды, и только это имело значение для Бодлера. Сейчас эта миниатюра переведена более чем на десяток языков, она продолжает жизнь. Написать о долгах с целью отдачи долгов так, чтобы это стало фактом большого искусства — может лишь гений.

Он писал о живописи, о выставках в Салоне: иной раз интересно прочесть, как раздражал его баталист Орас Верне (есть основания думать, что раздражал он поэта не столько живописью, сколько придворным успехом) — и тем, что ба-

талист вызывал о него мысли о ненавистном отчиме. Истинным ценителем живописи Бодлер был, но насколько он действительно понимал ее — трудно сказать. То, что он во времена «растраты наследства» иной раз покупал то ли копии картин, то ли подделки — факт доказанный.

Не так уж была велика инфляция в те времена в относительно благополучной Франции, по крайней мере — при жизни Бодлера, и мы можем сравнить финансовую сторону жизни этих людей. Первый муж оставил вдове ренты примерно столько же, сколько сыновьям — каждому около двух тысяч франков в год. Когда умер сенатор Опик — его вдова получила от государства пожизненное содержание в одиннадцать тысяч франков, а квартира в Онфлере ей и так принадлежала. Между тем Бодлер писал в письмах третьим лицам, что сенатор умер, оставив вдову «без средств». Он и посмертно сводил счеты с отчимом. Увы, это называется классическим эдиповым комплексом.

Кое-кто из современников все же воспринимал Бодлера серьезно, во времена республики и тем более — во времена второй империи, хотя цензура и водворилась в Париже на место, которое считала своим. Парнасцы с удовольствием печа-

тали то, что он им отдавал; менее придирчивые издания рады были напечатать его даже тогда, когда редактор мог подозревать, что стихотворение или эссе уже печаталось ранее под другой фамилией: автор благоразумно предполагал, что читатель у всех разный. Но нигде за литературу много не платили, а жизнь в Париже всегда была дорогой.

Когда суд приговорил поэта за оскорбление нравственности шестью стихотворениями к штрафу в 300 франков, он просто не мог их заплатить, и ходатайствовал перед императрицей об уменьшении суммы штрафа. Штраф уменьшили до 50 франков, чуть ли не одновременно выплатив ему «из другого кармана» 100 франков за переводы из Эдгара По. Но и 50 франков, «деньги на жизнь за две недели» поэту было весьма трудно заплатить. Он даже драматургией хотел заняться, писанием романов (сохранились их названия), что видно по письмам, — поэтическая книга, разобранная на страницы к тому же и частично уничтоженная, доходов дать не могла. К счастью для литературы, безуспешно: никакого дарования в сценической области Муза Бодлеру, видимо, не отпустила.

Важно помнить, что молодой и не очень мо-

лодой Шарль Бодлер молился, по собственному признанию, не одному Богу, а просил молиться за него своеобразную Троицу: отца, первую свою нянюшку Мариетту и Эдгара По. Если отца он и считал «жалким художником», то даже матери признавался, что память о живописи отца имеет для него «моральную ценность». Лукавил ли поэт в письме к матери, которую подозревал в распродаже немногочисленных картин отца? Думается, что лукавил: во всемирном величии Эдгара По он не сомневался. Его перевод «Ворона» был выполнен прозой. Через два десятилетия после смерти Бодлера Морис Роллина, «малый Бодлер», перевел на французский того же «Ворона» в привычной нам традиции, стихами. Всего переводов того же шедевра на французский едва ли меньше, чем на русский, а это значит — больше трех десятков. Переводчик должен быть великим читателем, Бодлер это понимал — и заставил соотечественников читать великого Эдгара. Кстати, отчасти не удивительно, что переводы из него и статьи о нем приносили Бодлеру заметно больший гонорар, чем собственные писания. Отчего? В них пульсировала новая кровь, возник «новый трепет» (по выражению Гюго в отзыве именно о Бодлере), столь необходимый французским читателям,

окончательно уставшим от Ламартина и тех, кто был старше, как бы ни были они талантливы.

С 1846 Бодлер начал объявлять в печати о том, что готовит к печати книгу стихотворений; сперва она носит убийственно эпатирующее название «Лесбиянки», в том же году название меняется, будущий сборник начал именоваться «Лимбы». Однако весной 1852 года поэт Теодор Верон, оставшийся в памяти потомков только благодаря данному поступку, издал свой сборник под таким же названием. Бодлер был вынужден искать новое заглавие — и ничего сочинить не смог до тех пор, пока в 1855 прозаик Ипполит Бабу не подсказал окончательное — «Цветы зла». Однако бесконечно требовательный к себе Бодлер проработал над книгой еще два года, стихи от читателей, впрочем, не скрывая: даже те стихотворения, которые были позднее осуждены официальным приговором, ему удалось напечатать в периодике и в антологиях. Однако внешне жизнь поэта до самого отъезда в Бельгию весной 1864 года выглядит одинаково: он скитается с квартиры на квартиру, пишет и печатает стихи, статьи и переводы, выпрашивает деньги (в основном у матери), меняет любовниц — и любовницы эти вовсе не принадлежат к «свету», уж скорей

к «полусвету»: преимущественно это актрисы. Лишь отчаяние могло спровоцировать его на создание таких произведений, как «Падаль»: в «Цветах зла» это стихотворение отнесено к сложившемуся уже во втором издании циклу Жанны Дюваль, напоминаю, темнокожей возлюбленной Бодлера. Там, где кончается в книге цикл Жанны Дюваль, сразу же начинается цикл Аполлонии (на самом деле — Аглаи) Сабатье, дамы, известной нам до мельчайших деталей благодаря скульптуре Клезенже, где она изображена обнаженной в виде Венеры. Что характерно для тех времен, она была не просто «изображена», — скульптор, по настоянию официального любовника Аполлонии, богача Альфреда Моссельмана, снял с нее, с обнаженной, гипсовый слепок — и лишь по нему создавал свой шедевр, ныне пребывающий в Лувре. Шедевр этот настолько возбудил Бодлера, что подвиг его на создание целого ряда стихотворений, в том числе и запрещенного после выхода книги постановлением суда — «Слишком веселой». Интересно и то, что для последнего стихотворения цикла Сабатье («Флакон») первой публикацией была та, что имела места в России более чем за год до выхода в свет «Цветов зла» — но об этом ниже. Третий цикл стихотворений,

посвященных возлюбленным, адресован Мари Добрен (Мари Брюно), зеленоглазой актрисе чуть моложе предыдущих подруг Бодлера. Таким образом, начиная со стихотворения за номером двадцать два (в реконструкции последнего, третьего издания книги) и до номера пятьдесят восемь в «Цветах зла» размещена лирика, непосредственно адресованная женщинам: для поэта, написавшего столь мало, это огромная часть наследия. Но не более того: конечно, женщины занимали в жизни Бодлера одно из главных мест, но и в стихах, обращенных к ним, можно отследить общение с литературными друзьями: если в Россию отправился для первой публикации «Флакон», то в последнем стихотворении цикла, обращенного Мари Добрен, упомянута «моя черная Сибирь»: видимо, отголосок общения с Николаем Сазоновым, с которого списал Герцен образ своего «лишнего человека».

25 июня 1857 добрый друг Бодлера Пуле-Маласси выпустил книгу Бодлера «Цветы зла». Не хочется писать «сборник»: столь целостную книгу, состоящую из пригнанных друг к другу стихотворений, не во всякой литературе найдешь. Разумеется были тут и все милые сердцу поэта лесбиянки и вампиры. Гром, разумеется,

грянул; по решению суда весь нераспроданный тираж был арестован. 21 августа 1857 — «за оскорбление общественной морали» Бодлер приговорен трибуналом департамента Сена к штрафу в 300 франков и к запрету шести наиболее «безнравственных» поэм. Виктор Гюго почти сразу поздравил Бодлера: находясь в эмиграции на острове Гернси он считал, что Бодлеру присуждена редкая награда, по сути дела — терновый венец. Отчасти так это и было, но автора мало утешало. Именно Виктор Гюго написал предисловие к брошюре Бодлера о Теофиле Готье, использовав уже упомянутую и ставшую знаменитой формулу — «новый трепет». Слово Гюго стоило дорого, но… он находился в эмиграции, а Бодлер — в Париже.

В книге по первоначальному замыслу ровно сто стихотворений — в 1857 году. Но в 1861 году появилось второе издание той же книги: из нее были изъяты шесть стихотворений, запрещенные постановлением императорского суда (и находившиеся под формальным запретом во Франции до 1949 года!), — зато в книгу было добавлено тридцать пять новых. Здесь, надо отметить, суд сыграл над книгой то ли злую, то ли в чем-то счастливую шутку: он разрушил нумерологическую магию Бодлера. Если нужно

переиздавать книгу без шести осужденных стихотворений, то зачем дальнейшее втискивание в определенное количество, которого все равно никто не заметит? В 1859 году Бодлер пишет свое прославленное «Плаванье», посвященное Максиму Дюкану, и превращает его в «замковый камень» книги — оно традиционно стоит в ней последним. Нам в России повезло вдвойне: у нас есть феноменальный перевод Марины Цветаевой. Кстати, в Париже это стихотворение вряд ли возникло бы: поэт создал его в Онфлёре, Кальвадос, гостя у овдовевшей матери. Онфлёр же — старинный, хоть и утративший значение из-за ила морской порт в устье Сены, близ моря. Море — тот единственный пейзаж, который радостен поэту. Разумеется, помимо пейзажа городского. Об этом Бодлер неоднократно писал прямым текстом.

В годы, посвященные трате наследства и знакомству с наркотиками, поэт создал наиболее мрачные стихотворения: «Падаль» (1843), «Нерадивый инок» (1843), «Дон Жуан в Аду» (1843) и др. Надо отметить, что известные нам «Цветы зла» сильно отличаются от первого издания книги: в 1857 году в ней были шесть стихотворений, осужденных судом — но в ней еще не было *глав-*

ных, наиболее хрестоматийных стихотворений, ныне составляющих всемирную славу Бодлера: «Парижский сон», «Лебедь», «Плаванье», «Альбатрос». Книга была куда более мрачной. Однако ко второму изданию прокуроры претензий не имели; коль скоро развалилось главное обвинение, в богохульстве, и не удалось изъять из книги даже «Отречение святого Петра», даже «Литанию Сатане» — они предпочли не делать строптивому автору рекламу поискать другую жертву. Отзывы на эту книгу были кислыми и неубедительными, притом принадлежали чаще всего перу грошовых журналистов. Правда, два отзыва были не просто комплиментарными, это были произведения искусства, что не удивительно — авторами их значились Леконт де Лиль и Чарльз Элджернон Суинберн. В статье последнего, кстати, говорится о серьезном влиянии Бодлера на современную английскую поэзию. Однако переводов из Бодлера на английский до конца жизни поэта, кажется, не было.

Однако и издание 1861 года едва ли можно считать каноническим; Бодлер готовил третье. Наиболее приближенный к авторскому составу вариант можно найти впервые разве что в русском переводе, в издании «Литературных

памятников» (1970); на порядок, предложенный Н. Балашовым и И. Поступальским в этой публикации опираются все многочисленные русские книги Бодлера, в том числе и наша: реконструкция Н. Балашова вполне убедительна.

При жизни Бодлера во Франции книга более не выходила, в посмертном издании 1868 года в нее было, по сравнению со вторым изданием, произвольно добавлено только три стихотворения (одно из них — весьма точный даже в российском понимании поэтический перевод фрагмента поэмы Лонгфелло, возникший из-за неудавшейся работы над либретто американской оперы). Кроме этого — существуют двадцать три стихотворения (среди них шесть — «запрещенных»), вошедших в изданный в Бельгии сборник «Осколки „Цветов зла“» (1866). Существует также публикация «Новые „Цветы зла“» — в двух выпусках альманаха/антологии «Современный Парнас» в 1866 году Бодлер напечатал под таким заглавием 16 стихотворений (6 из них повторены в «Осколках»); все они были ранее опубликованы (в 1861–1864 годы); это хорошие, но отнюдь не «хрестоматийные», не лучшие у Бодлера стихи. Иначе говоря, собственно «Цветы зла» — это круг, охватывающий 162 стихотворения; за пределами

этого наследия существует совсем немного того, что имеет ценность и достоверно может быть отнесено к поэтическому именно Бодлера, — ранние стихи, книга о Бельгии, разрозненные черновики и наброски. Однако этого наследства в неполные двести стихотворений совершенно достаточно, чтобы говорить о Бодлере как об одном из самых величайших поэтов XIX века не только во Франции, но и в мире.

Следует указать, что бытующее мнение, будто книги, выпущенные Бодлером после и помимо «Цветов зла», неизмеримо более сильны, чем «Цветы» — это то ли заблуждение, передаваемое от одного не вникшего в предмет знатока к другому, то ли, возможно, намеренная ложь переводчика или издателя, стремящегося выпустить неизвестную книгу великого писателя, «другую». Книги переводов из Эдгара По — все же не книги Бодлера, а его дневники, искусствоведческие работы, даже стихи в прозе и прочее никогда бы не привлекли внимания читателей без того огромного заряда творческой энергии, который отдал главной книге своей жизни Бодлер в 1840-е - 1850-е годы. Оставшиеся годы были для него куда менее творческими. В апреле 1864 года поэт уехал в богатую и быстро развивающуюся Бельгию: там

он мог читать лекции, там платили куда щедрей, чем в Париже. Но для его пошатнувшегося здоровья это было слишком поздно, да и к самой новой стране он быстро стал испытывать отвращение, что нашло отражение в его стихах этого периода. Здесь застала его предсмертная болезнь: поэт знал о ней и, судя по записям, ждал ее со дня на день уже несколько лет, даже восторженная статья о нем, исходившая от провозвестника новой эпохи, Поля Верлена (1865) едва ли могла что-то всколыхнуть в его душе: он записал, что «просто боится таких юнцов». Когда он упал на ступени бельгийского храма, когда утратил речь — все кончилось.

Поэт умер в Париже, сорока семи лет, когда не очень любимая мать привезла смертельно больного сына из Намюра в Париж. В таком же возрасте покинули грешную землю Тарас Шевченко и Фернандо Пессоа.

Бодлера трудно переводить: ученые разобрали его поэзию на молекулы и мы слишком много о ней знаем. К примеру, о том, что слово «символизм» придумано уже после смерти Бодлера офранцузившим себя греком Жаном Мореасом, притом само слово «символы» пришло из сонета Бодлера «Соответствия». Как Шекспир или

Эллиот в английском языке, как Грибоедов и Пушкин в русском, Бодлер стал сплошной цитатой, в которой нельзя менять ни слова, менее же всего — порядок слов. Но, к счастью, именно над Бодлером в России трудились очень многие.

Для нас важно отметить, что о Бодлере русский читатель смог узнать еще до издания «Цветов зла»: как пишет современный нам исследователь Сергей Фокин, «*В феврале 1856 года во второй книжке русского „учено-литературного“ журнала „Отечественные записки“ была опубликована статья с довольно громким названием „Новейшая поэзия во Франции, в Италии и в Англии“. Она обещала быть началом целой серии подобных опытов, поскольку подзаголовок гласил: „Письма к редактору „Отечественных записок“. Письмо первое“. Статья была датирована: „Париж, 30 декабря 1855 г.“ и имела подпись: „Карл Штахель“. Это был псевдоним, под которым скрывался небезызвестный русский вольнодумец Н. И. Сазонов*».

Доказательств общения Бодлера с жившим во Франции постоянно Сазоновым даже искать не надо: в письмах к Асселино от 1857 года и к Пуле-Маласси от 1860 году он прямо упоминается, Бодлер и привет ему передать не забывает. Кро-

ме привета, как мы увидим, были еще и стихи — Бодлер делился ими с Сазоновым, и в итоге печатался «за границей»: интересно проследить, что произошло это сразу после того, как весной 1855 году ушел из жизни осудивший Сазонова Николай I, — его преемник, Александр II, в 1858 году разрешил Сазонову вернуться в Россию; воспользоваться разрешением, увы, «рязанский барин» не смог — и в конце 1862 года умер в близ Женевы.

«Утро», — в привычном нам переводе М. Зенкевича «Утренние сумерки», — таково его название, когда оно публикуется среди писем Бодлера от 1853 года, — этот перевод стихотворения в переводе рязанского помещика Николая Сазонова (1815–1862) был первым переводом из Бодлера на европейские языки. Этот перевод не очень традиционен по нашим меркам, это перевод стихов прозой, — к тому же сокращенный, ибо Сазонов вынужден был приглушить бодлеровский скрытый эротизм текста, — но это был еще и перевод произведения, вовсе не изданного по-французски: перед нами полноценное доказательство русских связей самого Бодлера и того, что его известность для России можно отсчитывать с года, предшествующего году издания осужден-

ной во Франции книги (т. е. с 1856 года), до суда над книгой оставалось еще много месяцев. Стоит отметить, что опубликованный в той же статье оригинал стихотворения «Флакон» был для него первоизданием: русские читатели в итоги прочли стихотворение существенно раньше французских (что, при популярности французского языка в России, значило много). Хотя так ли нетрадиционны для нас переводы стихов прозой? Именно таков был первый русский перевод из Бернса в 1800 году, и таков был первый русский перевод из Рембо в 1900 году. Бодлеру, как мы видим, повезло больше: он напечатался в России еще при жизни и безусловно знал об этом.

Максимально приближенные к проекту третьего издания «Цветы зла» вышли, что интересно, тоже по-русски: в «Литературных памятниках» в СССР, в 1970 году. Это символично, если учесть, что именно в России публикация книг Бодлера в XIX веке была запрещена цензурой: «Цветы зла» были у нас запрещены в 1859 году, «Дополнения к Цвета зла» и «Осколки» — соответственно в 1881 и 1883 годах. Лишь после отмена цензуры в 1905 году в России эти запреты перестали действовать, сразу три более или менее удачных, но все же довольно полных издания Бодлера

увидели свет: переводы А. Панова, А. Альвинга и Эллиса. Отметим: запрещенные *французской* цензурой стихотворения отсутствовали и тут. Четвертый, наконец-то действительно полный перевод (Адриана Ламбле) вышел в свет, что символично, во Франции, в 1929 году, за двадцать лет до формальной реабилитации «запрещенных цензурой» шести стихотворений. Пятый полный перевод (1940), выполненный Вадимом Шершеневичем, две трети века пролежал в архиве и вышел в свет лишь в XXI веке. Других полных авторских попыток не выявлено, хотя в первом приближении работу дальше середины общего объема П. Я. Якубович-Мельшин и В. Левик все же довели. Иначе говоря, попытка довести объем до авторского, полного была одна — перевод Адриана Ламбле. Даже в советском издании 1971 года из шести стихотворений было приведено только два, и причины изъятия остальных были, по признанию составителей, чисто цензурные: «Лесбос» не больше нравился советскому Главлиту, чем ханжам Второй Империи.

Однако традиция сложилась не из полных переводов книги. Переложения отдельных стихотворений мы находим сперва у тех поэтах, творчеством которых XIX век подвел в России

черту (Д. Мережковский, П. Бутурлин, Инн. Анненский), затем у всех главных символистов (В. Брюсов, К. Бальмонт, Вяч. Иванов), у акмеистов и членов «Цеха поэтов» (Н. Гумилев, М. Зенкевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Вс. Рождественский, М. Лозинский) у лучших переводчиков советского времени (Б. Лившиц, П. Антокольский, С. Петров, Л. Остроумов), даже у тех из поэтов, для которых перевод не был важной вехой деятельности (Игорь Северянин). Из всего разнообразия сохранившихся переводов без большого труда выбирается вполне единая и достойная книга. Надо сказать, что добрая половина этих переводов была давно сделана к моменту издания книги в «Литературных памятниках», но до печатного станка их довели лишь последние десятилетия XX века, первое же двухтомное собрание сочинений Бодлера вышло лишь в Харькове в 2001 году.

Если некогда Суинберн писал о серьезном влиянии Бодлера на английскую поэзию, то влияние на поэзию русскую, хотя пришло позже, но оказалось колоссальным. Ни символизм, ни акмеизм не обошли его стороной. Давно уже наличие же множества полноценных русских версий каждого стихотворения делает возможным и включение «Цветов зла» в число постоянно читаемых

русских книг. При основательно утраченном у нас знании французского языка, не говоря уже о поэзии, это весьма важно.

В русском переводе пропадает разве что второе французское значение заголовка — «Болезненные цветы». Но важнее другое: из множества тех его поэтов, чье творчество пришлось на середину XIX века, во всем Западном Полушарии Бодлер создал наиболее живую по сей день книгу. Пусть эта книга только одна, но тем безусловней ее ценность, убереженная до наших дней.

Драгоценная и для наших дней.

Евгений Витковский

LES

FLEURS DU MAL

PAR

CHARLES BAUDELAIRE

SECONDE ÉDITION

AUGMENTÉE DE TRENTE-CINQ POÈMES NOUVEAUX

ET ORNÉE D'UN PORTRAIT DE L'AUTEUR

DESSINÉ ET GRAVÉ PAR BRACQUEMOND



PARIS

POULET-MALASSIS ET DE BROISE, ÉDITEURS

97, RUE DE RICHELIEU, ET PASSAGE MIRÈS, 38

1861

Tous droits réservés.



ЭПИГРАФ К ОСУЖДЕННОЙ КНИГЕ

Читатель с мирною душою,
Далекою от всех грехов,
Ты не читай моих стихов,
Глухою дышащих тоскою.

Коль ты не дружен с Сатаною
И не пошел на хитрый зов,
Брось! Не поймешь моих ты слов
Иль Музу назовешь больною.

Но если взором охватить
Ты бездну мог, не замирая,
Читай меня, чтоб полюбить;

Взалкав потерянного рая,
Страдай, сочувственно скорбя,
Со мной!.. Иль прокляну тебя!

ЧИТАТЕЛЮ

Ошибки, глупость, грех и скупость чередою
Наш занимают ум и заражают кровь;
Раскаянью даем мы пищу вновь и вновь,
Как труп дает червям насытиться собою.

Погрязнувши в грехах, мы каемся уныло;
Признанья продаем высокою ценой,
И весело бредем мы прежнею тропой,
Поверив, что слеза все пятна наши смыла.

А на подушке зла Алхимик чудотворный
Баюкает всю ночь наш ослепленный ум,
И девственный металл намерений и дум
Весь испаряется в руке его упорной.

Сам Дьявол держит нить судеб и правит нами;

В предметах мерзостных находим прелесть мы

И к Аду каждый день спускаемся средь тьмы

На шаг, без ужаса, зловонными ходами.

Как, уплативши грош, развратник распаленный

Целует древнюю, измученную грудь,

Так жаждем тайный плод украсть мы где-нибудь

И соки выжать все из старого лимона.

Червями мерзкими киша и расползаясь,

В мозгах у нас живет разгульных бесов рой.

С дыханием к нам Смерть невидимой рекой

Стекает в легкие, со стоном разливаясь.

И только потому убийства и поджоги

Не вышили еще забавных вензелей

По сумрачной канве бесцветных наших дней,

Что мало смелости дано душе убогой.

Но там, где тигры спят и вьются клубом змеи,

Средь тварей без числа, среди чудовищ всех,

Чей слышен визг, и вой, и хрюканье, и смех,

В зверинце мерзостном пороков, есть гнуснее

И злее всех один — его не извести нам!

Размерен шаг его, и редко слышен крик,

Но хочется ему разрушить землю в миг,

И мир он проглотить готов зевком единым.

То Скука! — Омрачив глаза слезой неверной,

Она готовит казнь, склонясь над чубуком.

Читатель, этот бес давно тебе знаком —

О ближний мой и брат, читатель лицемерный!

Сплин и идеал

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Когда является, по воле Провиденья,
Поэт в обителях тумана и тоски,
То мать несчастная его полна хулений
И Господа клянет, сжимая кулаки:

— «О, лучше б родила я змей клубок шипящий,
Чем столь позорное кормить мне существо,
И проклята будь ночь с усладой преходящей,
Когда на горе мне я зачала его.

Коль средь всех прочих жен, Тобою пощаженных,
Супругу в тягость быть Ты предназначил мне,
И если не могу, как тайне строк влюбленных,
Уроду жалкому могилу дать в огне,

Я на орудие Твоих расправ и гнева

Твою всю ненависть сторицей изолью
И так ствол искривлю отравленного древа,
Что уж не распустить листву ему свою!»

Так злобных слов своих она глотает пену,
Не ведая Творцом назначенных путей
И для себя сложив на дне глухой Геенны
Костры, сужденные проступкам матерей.

Но под опекою незримой Серафима
Впивает сирота луч солнца огневой,
И в пище и питье, оставленных другими,
Находит манну он и нектар золотой.

Играет с ветром он, беседует с грозою
И радостно идет по крестному пути;
И слыша, как поет он птицею лесною,
Не может слез своих Хранитель скрыть в груди.

Все те, кого любить он хочет, боязливо

Глядят иль, осмелев от звука первых слов,

Хотят исторгнуть стон из жертвы незлобивой

И пробуют на нем укус своих зубов.

Они, чтоб отравить вино его и пищу,

Готовят тайно смесь из пепла и плевков,

И с мнимым ужасом бегут его жилища,

Жалея, что пошли вослед его шагов.

Жена его кричит на шумных стогнах мира:

— «Коль он за красоту меня боготворить

Способен, буду я как древние кумиры,

И должен он меня теперь озолотить!

Упьюсь его мольбой и миррою смиренной,

Заставлю предо мной колена преклонить,

Чтоб знать, дано ли мне в душе, навеки пленной,

Святой престол богов со смехом осквернить.

Когда ж мне надоест безбожно с ним возиться,

Я руку положу свою к нему на грудь,

И ногти, схожие с когтями хищной птицы,

Смертельный проложить сумеют к сердцу путь.

Как малого птенца, что бьется средь мучений,

Я сердце красное из жертвы извлеку,

И, псу любимому давая на съеденье,

На землю я его с презрением швырну!»

Но руки к небесам, где пышный трон сверкает,

Задумчивый Поэт молитвенно воздел,

И молнии ума от глаз его скрывают

И буйную толпу, и собственный удел:

— «Благословен наш Бог, дающий чадам сирым

Боль в исцеление душевных гнойных ран

И тем живительным и чистым эликсиром

Готовящий святых к блаженству райских стран.

Я знаю, мой Господь, что примешь Ты поэта

В ряды победные Твоих святых дружин,

И место на пиру бессмертия и света

Среди Архангелов займет лишь он один.

Я ведаю, что боль единственная слава,

Чей вечный блеск землей и адом пощажен;

И нужно, чтоб создать венцов незримых сплавы,

Богатства всех миров и дани всех времен.

Все драгоценности исчезнувшей Пальмиры,

Металлы редкие, жемчужины морей,

Сравниться б не могли с моей святой порфирой

И с ослепительной короною моей.

Ведь сотворишь ее из чистого сиянья
Чертогов, где лазурь извечная светла,
Нашедшего в глазах земных Твоих созданий
Лишь омраченные, слепые зеркала!»

АЛЬБАТРОС

Нередко, для забав, стараются матросы,
Когда скользить корабль над бездной вод глухих,
Поймать могучего морского альбатроса,
Парящего вокруг сопутников своих.

Но только те его на доски опустили —
Смутится царь небес, неловкий и хромой,
И крылья белые, раскрытые бессильно,
По палубе влечет, как весла, за собой.

Воздушный путник тот, как он нелеп и жалок!
Красавец бывший стал уродлив и смешон!
Кто дразнит трубкою его, а кто вразвалку
Идет, изобразив, как крыльев он лишен.

Поэт, походишь ты на князя туч свободных,

Знакомого с грозой, презревшего стрелков;

Изгнаннику с небес, средь окриков народных,

Гигантские крыла помеха для шагов.

ВОСПАРЕНИЕ

Над зеленью долин, над синими морями,
Горами, рощами и слоем облаков,
За гранью древних солнц и вечных их кругов,
За недоступными надзвездными краями,

Мой дух, ты движешься с проворностью пловца
Могучего, чья грудь лобзаньям влаги рада,
И с несказанною, спокойною отрадой
Отважно бороздишь ты пропасти Творца.

Подальше улетай от вредных испарений.
Очиститься спеши в лазури золотой
И пей, как девственный напиток неземной,
Огонь, наполнивший небесные селенья.

Сквозь скуку, и тоску, и сумрак горьких бед,

Отягощающих теченье дней туманных,

Блажен, кто силою полетов неустанных

Уносится к полям, где вечный мир и свет.

Чьи мысли по утрам, учась у птиц небесных,

В свободную лазурь взлетают взмахом крыл.

— Кто духом воспарил над жизнью и открыл

Смысл языка цветов и тварей бессловесных.

СООТВЕТСТВИЯ

Природа храм, и в нем есть ряд живых колонн;
Из них порой слова невнятные исходят;
В том храме человек в лесу символов бродит,
И на него их взор привычный устремлен.

Как эха долгие друг другу отвечают,
Сливаясь вдалеке в один и тот же глас,
Безбрежный, как лазурь, окутавшая нас,
Так запахи, цвета и звуки совпадают.

Одни есть запахи невиннее детей,
Как флейты нежные, зеленые как поле.
— В других нам слышен тлен, но всех они властней

И беспредельною мечтой плывут на воле,
Как амбра, фимиам, и мускус, и алой,

Поющие страстей и духа пыл живой.

«Мне память дорога эпох тех обнаженных...»

Мне память дорога эпох тех обнаженных,
Когда Феб золотил кумиры воплощенных
Богов, и были дни людей, на зов весны,
Без лжи и без забот любви посвящены.
Лазурь приветливым лучом на них горела;
Здоровием дыша, цвело святое тело.
Цибела, щедрая обилием плодов,
Не тяготилася числом своих сынов,
Волчица добрая, всю тварь под небесами
Кормить готовая набухшими сосцами.
Мужчина, красотой и силой светлый, мог
Гордиться девами, в чьем сердце он был бог —
Плоды немятые, не знавшие ненастья,

Чья кожа гладкая звала укусы страсти!

А в наши дни Поэт, поверивший в мечты,

Порой свидетелем случайной наготы

Мужчин и женщин став, клянет обман бесплодный,

Стыдится и стоит с угрюмостью холодной

Пред этим зрелищем, безмолвен и суров!

Чудовищная плоть, накинь скорей покров!

Нелепые тела, гнуснее, чем личины!

Худые, жирные иль дряблые мужчины,

Кого Бог выгоды, безжалостно глухой,

Навек запеленал железной пеленой!

И женщины, увы, бледнее свеч церковных,

Принявшие разврат взамен утех любовных,

И девы — дочери печальных матерей,

Обезображенных плодливостью своей!

Есть, правда, и у нас, на склоне жизни старой,

Народам древности неведомые чары.

Огнем сердечных язв изъедены чела,

И прелесть томная на лица нам легла.

Но скудные дары Муз наших запоздалых

Не помешают нам, сынам веков усталых,

Всегда несть юности невольный наш привет —

Священной юности, в расцвете первых лет,

С глазами ясными, прозрачными как воды,

Разлившей на весь мир сочувственной природы,

Как светлая лазурь, как птицы и цветы,

Звон песен, аромат и сладость теплоты.

МАЯКИ

О Рубенс, лени сад, струя реки забвенья,
Плоть свежая, любви чужая навсегда,
Но где играет жизнь могучая, в движеньи
Безостановочном, как воздух и вода.

Да Винчи, зеркало, в котором тонут взоры,
Где лики ангелов, с улыбкою немой,
Исполненною тайн, сияют средь убора
Лесов и ледников, закрывших край святой.

Рембрандт, немолчная и скорбная больница,
С большим распятием, висящим на стене,
Где слезная мольба средь мерзости струится
И зимний луч стрелой сверкает вдруг во тьме.

Микель-Анджело, луг заклятый, где Герои

Встречаются с Христом, где сумрачно встают

Слепые призраки вечернею порою

И саван пальцами искривленными рвут.

Бесстыдство, грубый гнев и страсть изобразивший,

Нашедший красоту на дне людских низин,

О сердце гордое, художник, желчь таивший,

Пюжэ, преступников печальный властелин!

Ватто, тот карнавал, где много знаменитых

Сердец, как бабочки, порхают и горят;

Где средь ночных садов, цепями люстр увитых,

Безумно кружится веселый маскарад.

Ты, Гойя, жуткий сон, страна тобой воспетых

Ведьм, варящих слепых зародышей в котлах,

Старух у зеркала и девушек раздетых,

Но, бесам на соблазн, оставшихся в чулках.

Делакруа, в тени всегда зеленых елей

Немое озеро, куда издалека

Дурные ангелы бесшумно прилетели

И где нам слышится песнь вольного стрелка.

Все те проклятия, хуления и стоны,

Восторги, крики, вздох, молебны, плач скорбей —

Звук, эхом тысячи ущелий возрожденный,

И для людских сердец божественный елей.

То клик, повторенный от века часовыми,

Приказ властительных и громких голосов,

Маяк, пылающий над башнями ночными,

Призыв охотников, забредших в глубь лесов.

Воистину, Господь, вернейшего залога
Достоинства души Тебе не можем дать,
Чем этот вечный стон, из нашего острога
К бессмертным берегам идущий умирать.

БОЛЬНАЯ МУЗА

О Муза бедная! Скажи мне, что с тобой?
Твои глаза полны полуночных видений,
И на твоих щеках проходят чередой,
В тупом безмолвии, испуг и исступленье.

Ночные призраки и муж нездешний твой
Струили ль вновь из урн и жуть и упоенье?
Тяжелый сон тебя коварною рукой
Увлек ли в тонкие, смертельные селенья?

О, если бы всегда, здоровием дыша,
Твоя была полна дум радостных душа,
И кровь крещенная текла б легко и плавно,

Как звуки гордые античного пэана,
В которых царствует родитель песен,

Феб,

И вседержавный Пан, дарующий нам хлеб!

ПРОДАЖНАЯ МУЗА

О Муза жалкая, любовница дворцов,
Когда Январь нашлет на нас Борей холодный,
Найдешь ли, вечером тоскуя безысходно,
Для посиневших ног немного угольков;

Иль плечи оживишь под лаской мимолетной
Полуночных лучей, проникнувших под кров?
Сберешь ли золото лазурных вечеров,
Когда карман твой пуст и день грозит голодный?

Ты век должна, чтоб хлеб насущный получить,
При чуждых алтарях кадилами кадить,
Молебны петь богам, непризнанным тобою,

Или на площадях, показывая грудь

И запретив слезам сквозь дикий смех блеснуть,

Кривляться и плясать пред грубою толпою.

ДУРНОЙ МОНАХ

В былых монастырях со стен глядела живо
Святая Истина, в их росписи цветной,
И вид тот согревал мечтой благочестивой
Сердца и облегчал им подвиг их земной.

В те дни, когда цвела еще Христова нива,
Иной святой монах, для нас уже чужой,
Так возвеличил Смерть рукою нестроптивой,
Избравши кладбище своею мастерской.

Душа моя, ты склеп, и я в тебе от века
В тупом бездействии живу, как инок некий.
Ничто не красит стен обители моей.

Сумею ль превратить — монах, забывший Бога —

Живое зрелище судьбы моей убогой
В работу рук моих и свет моих очей?

ВРАГ

Вся молодость была жестокою грозою,
Лишь изредка живым пронизанной лучом.
Так много сгублено и громом и водою,
Что нет почти плодов златых в саду моем.

На мыслях уж лежат туманы листопада,
И мне не обойтись без граблей и лопат,
Чтоб вновь создать дождем разрушенные гряды,
Где вырыла вода могил глубоких ряд.

Найдут ли поздние цветы моих мечтаний
Вновь пищу, нужную для их произрастанья,
В саду том, где давно ничто уж не цветет?

О горе горькое! Жизнь нашу время гложет,

И враг неведомый, что сердце нам грызет,

Пьет кровь и нашею утратой силы множит.

НЕУДАЧА

Нет, ноша слишком уж тяжка!
Поднять ее Сизиф лишь может.
Хоть сердце в труд художник вложит —
Искусство долго, Жизнь кратка.

Могил надменных избегая,
Уходит сердце в час скорбей
На кладбище погибших дней,
Марш похоронный отбивая.

— Алмазов много спит во мгле,
На дне пучины иль в земле,
От лотов и лопат далеко.

И не один цветок цветет
И мед, как тайна сладкий, льет
Среди безлюдности глубокой!

ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ

В тени я портиков высоких жил годами.
Был отблеск солнц морских на камнях их зажжен,
И стройные ряды торжественных колонн,
Как грот базальтовый, чернели вечерами.

Валы, качавшие на лоне небосклон,
Неслись, и голос их, всесильными громами
Звуча, был сказочно с закатными цветами,
Горевшими в глазах моих, соединен.

Так прожил долго там я в неге безмятежной,
Среди лазури, волн, и тканей дорогих,
И благовонных тел невольников нагих,

Что освежали лоб мне пальмами при-

лежно,

И только к одному стремились — угадать,

Зачем мне суждено так горько изнывать.

ЦЫГАНЕ В ПУТИ

Пророческий народ с горящими зрачками
Вчера пустился в путь, и матери детей
Несут или к сосцам искусанных грудей
Дают им припадать голодными губами.

Мужчины вслед идут за крытыми возами,
Где семьи спрятаны от зноя и лучей,
На небо устремив тяжелый взор очей,
Уже покинутых неверными мечтами.

Таясь среди песка, глядит на них сверчок,
И песня звонкая слышна им вдоль дорог;
Цибела ради них свои сгущает сени,

И в расцветающей пустыне бьет родник
Для этих странников, чей жгучий взор

проник

В знакомую страну глухих грядущих теней.

ЧЕЛОВЕК И МОРЕ

Свободный человек, любить во все века
Ты будешь зеркало свое — родное море.
Ты душу узнаешь в его глухом просторе,
И бездна дум твоих не менее горька.

Ты погружаешься в свое изображенье,
И руки и глаза насытив, и твой дух,
Средь гула гроз своих, порою клонит слух,
Внимая бешеной, неукротимой пене.

Вы оба с ним равно угрюмы и темны;
Никто, о человек, твоей не мерил бездны,
О море, никому до дна ты не известно,
И не раскроете вы тайной глубины.

И всё же, вот уж ряд веков неисчислимый,
Как вы сражаетесь, раскаянье забыв
И жалость, вняв резни и гибели призыв,

О братья и враги в борьбе непримиримой!

ДОН ЖУАН В АДУ

Когда был Дон Жуан к глухим подземным водам
Отозван и свою Харону лепту дал,
Бродяга сумрачный, сверкая взором гордым,
Рукою мстительной и сильной весла взял.

С грудями вялыми, раскрывши одеянья,
Сбежались женщины к нему со всех сторон,
Подобно стаду жертв, ведомых на закланье,
И слышен был во тьме протяжный, горький стон.

Слуга его твердил со смехом господину
Про долг. Его отец нетвердою рукой
На сына дерзкого, презревшего седины,
Указывал теням, бродившим за рекой.

Дрожа под трауром, печальная Эль-

вира,

Простившая обман и слезы тайных мук,

Казалось, всё ждала от прежнего кумира

Улыбки сладостной, как первой клятвы звук.

Застывши на корме, закованный весь в латы,

Муж каменный делил рулем угрюмый вал,

Но чуждый всем герой, на меч склонясь, куда-то

Глядел и никого кругом не узнавал.

НАКАЗАНИЕ ГОРДОСТИ

В те дивные года, когда, дыша любовью,

Ум смертный изучал одно лишь Богословье,

Один среди святых, прославленных мужей

— Сердца расшевелив огнем своих речей,

Согрев восторгами их черные глубины,

К престолу Вышнего и славе Голубиной

Сумевши, для себя нежданно, обрести

Одним лишь Ангелам доступные пути —

Смущен, как человек, поднявшийся на скалы,

Воскликнул, в приступе гордыни небывалой:

«Ничтожный Иисус! Высоко ты взлетел!

Но если б развенчать тебя я захотел,

С твоею славою сравнилось бы паденье,

И стал бы ты пустой и смехотворной тенью!»

Он в тот же самый миг был разума лишен.

Свет солнца яркого того был омрачен.

Первоначальный мрак в уме том воцарился,

Который храмом был и роскошью светился

И где под сводами сверкало всё огнем.

Молчание и ночь одни остались в нем,

Как в склепе, навсегда свои замкнувшем двери.

С тех пор был превращен в бездомного он зверя.

И летом и зимой, не видя ничего,

Полями он бродил, немое существо,

Неряшливый старик, чужой всему на свете,

И бегали за ним и насмехались дети.

КРАСОТА

О смертные, как сон я каменный прекрасна.

Изранен тот, кто раз прильнул к моей груди,

Но ей дано зажечь в поэте жар любви,

Как вещество миров бессмертной и безгласной.

Как сфинкс непонятый, царю я в вышине;

Спит сердце снежное под грудью лебединой;

Застыв, я линии не сдвину ни единой;

Не плачу никогда, и смеха нет во мне.

Поэты пред моим торжественным молчаньем,

Напоминающим лик мраморных богов,

Все ночи посвятят суровым послушаньям;

Ведь мне, чтоб ослепить безропотных

рабов,
Два зеркала даны, в которых всё чудесно —
Широкие глаза, с их ясностью небесной.

ИДЕАЛ

Нет, никогда толпа прелестниц пошловатых,
Испорченных плодов ничтожных наших дней,
В уборе их одежд и поз замысловатых,
Не сможет утолить мечты души моей.

О Гаварни, поэт улыбок томно-бледных,
Не для меня ты дев больничных рисовал;
Я не могу найти, средь роз твоих бесцветных,
Цветка, похожего на красный идеал.

Но сердцу дороги, глубокому, как бездна,
Вы, Лэди Макбет, дух преступный и железный,
Эсхилова мечта, расцветшая средь льдов,

Иль ты, немая Ночь, ты, дочь Микель-Анджело,

Раскрывшая, во сне склонясь на мрамор белый,

Красы, достойные страстей полубогов.

ГИГАНТША

В те времена, когда могучая Природа
Творила каждый день чудовищных детей,
С гигантшей юною я жить хотел бы годы,
Как при царевне кот, ласкающийся к ней;

Дивиться, как цветет с душою вместе тело,
Растущее легко средь бешеных затей;
Угадывать грозу, что в сердце закипела,
По влажной пелене в зрачках ее очей;

На воле исходить ее младое лоно,
Вползать на верх колен по их крутому склону,
А летом, иногда, когда, от злых лучей

Устав, она в полях раскинется широко,
Спать беззаботным сном в тени ее

грудей,
Как мирное село в тени горы высокой.

ЗАПЯСТЬЯ

Одежды сбросила она, но для меня
Оставила свои гремящие запястья;
И дал ей тот убор, сверкая и звеня,
Победный вид рабынь, в дни юного их счастья.

Когда он издает звук резвый и живой,
Тот мир сияющий из камня и металла
Дарует мне восторг, и жгучею мечтой
Смесь звуков и лучей всегда меня смущала.

Покорствуя страстям, лежала тут она
И с высоты своей мне улыбалась нежно;
Любовь моя текла к подруге, как волна
Влюбленная бежит на грудь скалы прибрежной.

Очей не отводя, как укрощенный тигр,
Задумчиво нема, она меняла позы,

И смесь невинности и похотливых игр
Давала новый блеск ее метаморфозам.

Рука ее, нога, бедро и стан младой,
Как мрамор гладкие и негой несравнимой
Полны, влекли мой взор спокойный чередой;
И груди, гроздия лозы моей родимой,

Тянулись всё ко мне, нежней, чем духи Зла,
Чтоб душу возмутить и мир ее глубокий,
Но недоступна им хрустальная скала
Была, где я сидел, мечтатель одинокий.

Казалось, совместил для новой цели Рок
Стан стройный юноши и бедра амазонки,
Так круг прекрасных чресл был пышен и широк
И так был золотист цвет смуглый тальи тонкой.

— Усталой лампы свет медлительно погас;

Лишь пламя очага неверное горело,

Дыша порывами, и кровью каждый раз

Вздох яркий заливал янтарь родного тела.

МАСКА

Аллегорическая статуя во вкусе Возрождения

Какое дивное пред нами изваянье!
В изгибах тела мощь и нега разлиты
Обильно и цветут в божественном слияньи.
Всё дышит чарами чудесной красоты
В той женщине. Она достойна скра-
сить ложа
Роскошные дворцов, деля на долги дни
Досуг духовного владыки или дожа.

На эту властную улыбку ты взгляни,
Самодовольную и полную истомы;
На этот страстный взор, дар благост-
ных Харит;
На нежное лицо, где сердцу всё знакомо
И каждая черта победно говорит:
«Меня призвала Страсть; Любовь венок
сплела мне!»
Тот мрамор, царственным величьем

одарен,

Безгрешностью своей в нас разжигает пламя.

Давайте обойдем его со всех сторон.

Безбожного творца безумное хуленье!

Глядит лицом двойным, по прихоти резца,

Богиня дивная, сулившая забвенье!

Но нет! То маска лишь, смутившая сердца,

Тот лик, трепещущий в блаженном упоеньи,

Как будто бы от ласк, не знающих конца.

А настоящий лик, скосившись от мучений,

Немеет позади неверного лица.

— Унылая Краса! Твои святые слезы

Державною рекой стекают в грудь мою!

Я ложью опьянен твоей и жадной грезой

Волну твоих очей страдальческих я пью!

— Но плакать ей зачем? К ней Рок ведь благосклонен,

И всех бы красотой пленить она могла.

Какой таинственный недуг ей гложет лоно?

О том она скорбит, безумный, что жила

И что живет еще. Но то всего больнее

И дрожью всю ее томит по временам,

Что завтра надо вновь ей жить, уснуть не смея,

И послезавтра жить, и вечно — как и нам!

ГИМН КРАСОТЕ

Жилица ль ты небес иль пропасти глубокой,

О Красота? Льет яд с блаженством заодно

Твой взор божественный, холодный и жестокий,

И в этом ты для нас похожа на вино.

В твоих глазах горят закат и свет восхода;

Благоухаешь вся, как вечер пред грозой;

И, зелья уст твоих вкусив, клянет походы

Герой, а юноша отважно рвется в бой.

Пришла ль из бездны ты, иль к нам со звезд сошла ты?

Рок очарованный за юбками, как пес,

Бежит. Ты сеешь здесь то радость, то утраты

И царствуешь над всем, не видя наших слез.

Идешь ты, Красота, не зная сожаленья,
По трупам, ужасом сверкая как венцом;
Убийство, средь других цветных его камений,
На гордом поясе играет багрецом.

Покорный мотылек на пламени сгорает
Твоем, свеча, свой рок и смерть благословив;
Любовник в страстный миг над девой замирает,
Как будто бы свой гроб руками охватив.

Не всё ль равно, с небес приходишь иль из ада,
О Красота, немой, невинный, жуткий зверь.
Твой взор, уста и грудь дарують мне усладу
И в Рай неведомый мне раскрывают дверь.

Послал ли Сатана иль Бог тебя, Сирена

Иль Ангел? Всё равно! Ведь светятся зрачки

Твои, и в их лучах, кумир мой вожделенный,

Мир краше и не так мгновения тяжки.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ

Когда в осенний день, с закрытыми глазами,
Грудь теплую твою вдыхаю я без слов,
Сияет предо мной счастливых берегов
Блеск ослепительный под вечными лучами.

Видны мне острова, овеянные снами,
Деревья странные и гроздья их плодов,
Мужчины стройные, как пальмы средь садов,
И жены с чистыми, невинными очами.

Мчась запаху вослед в прелестную страну,
Я вижу гавани заснувшую волну
И белых парусов обветренные стаи,

Меж тем как аромат неведомых кустов,
Плывя по воздуху и грудь мою вздымая,
Сливается в душе с напевами гребцов.

ВОЛОСЫ

Руно волнистое, нависшие покровы!
О кудри! Аромат и томный, и густой!
Восторг! Чтоб населить сегодня мрак алькова
Заснувшим в волосах дыханием былого,
Я ими, как платком, повею пред собой.

Ленивой Азии и Африки бессонной
Далекий мир и зов почти забытых вод
Живут в твоей тени, лес странно благовонный.
Как у других плывет по звукам ум пленный,
Так мой, любовь моя, по запахам плывет.

Уйду я в те края, где люди под горящей
Лазурью соками и негою полны.
О косы, будьте мне вы зыбью, в даль стремящей!
Ты, море темное, содержишь сон сле-

пящий

Ветрил, гребцов, и мачт, и пламенной волны:

Там гавань шумная, где дух мой пьет глотками

Большими запахи, и звуки, и цвета,

Где корабли скользят багряными струями,

Объятия раскрыв пред жгучими лучами

Небес, где синева от века разлита.

Я погружусь лицом в дурманящий и черный

Тот океан, в себя вмещающий другой,

Мой изощренный ум под ласкою повторной

Зыбей вас вновь найдет, дни лени плодотворной,

Качанье вечное и сладостный покой!

Ночь синяя волос, раскинутые тени,

Вы возвратили мне лазурный небосклон.

Прильнувши к локонам в безмолвном упоеньи,
Я слышу мускуса и дегтя дуновенье
И слитым запахом их сладко опьянен.

Склоняясь без конца над гривою густою,
Я жемчуг и рубин рассыплю щедро в ней,
Чтоб никогда к мольбам ты не была глухою!
Ведь ты оазис снов и чаша, что порою
Поит меня вином моих прошедших дней!

«Как небо я тебя ночное обожаю...»

Как небо я тебя ночное обожаю,
Сосуд печальных грез, красавица немая.
Ты от меня бежишь, но я тем горячей
Люблю тебя, мой друг, краса моих ночей,
Чем ты насмешливей скрываешься за дали,
Которые рукам обнять лазурь не дали.

Иду на приступ я и лезу смело в бой,
Как жадный хор червей на труп идет войной,
И даже полюбил, зверь сумрачно-жестокий,
Холодность я твою, как дар прекрасный Рока!

«Всё человечество зовешь под сень алькова...»

Всё человечество зовешь под сень алькова,
Жена нечистая! И каждый вечер снова
Ты сердце новое должна зубами рвать,
Чтоб вероломную игру не забывать.
Глаза, горящие, как факелы гуляний
Народных иль витрин зазывное сиянье,
Себе присвоили чужие им права,
Не знавши никогда, в чем смысл их торжества.
Слепое существо, глухое к состраданью,
Кровь мира пьющее, жестокое созданье,
Ужель пред зеркалом не ведаешь стыда
И в нем твои красы не меркнут никогда?
Ужели всё то зло, которому все годы
Ты служишь, не страшит тебя, когда

Природа

Для тайных замыслов своих тебя берет,

Греховная жена, и власть тебе дает,

— Тебе, презренная, — чтоб мог родиться гений?

Величье подлое! Державное паденье!

SED NON SATIATA

Богиня странная, как ночи — ты темна
И дышишь мускусом и пряною геранью;
Тропических лесов, должно быть, ты созданье,
Колдунья черная, и в полночь рождена.

Мне слаще опия, алоя и вина
Твоих горячих уст пьянящие лобзанья;
Когда к тебе летит толпа моих желаний,
В колодце глаз твоих тоска утолена.

Из этих черных глаз, сверкающих и жадных,
Лей меньше пламени, мой демон беспощадный;
Не Стикс я, чтоб тебя раз девять обнимать,

Увы, и не могу, распутная Мегера,
Несть Прозерпины дар, чтоб пыл твой

обуздать,
На ложе адское, взамен даров Венеры!

«Одежды светлые ее текут волной...»

Одежды светлые ее текут волной,
И шаг размеренный похож на танец сонный,
Как пляска длинных змей, которых пред толпой
Факиры на жезлах качают монотонно.

Как грустные пески и даль степей нагих,
Людскому чуждые страданию и стону,
Как сеть широкая безбрежных волн морских,
Она живет без грез душой непробужденной.

Шлифованной рудой блестит прелестный глаз,
И в этом существе таинственно-ленивом,
Где ангел девственный слит с сфинксом молчаливым,

Где всё лишь золото, блеск стали и алмаз,

Сияет навсегда, как звездный свет холодный,

Ненужною красой лик женщины бесплодной.

ПЛЯШУЩАЯ ЗМЕЯ

Как я люблю, о друг мой томный,
Наблюдать, когда
Упругий стан твой кожей темной
Блещет, как звезда.

По волосам твоим смолистым,
Черным и густым,
По знойным их морям душистым,
По волнам живым,

Как ветром утра пробужденный
Призрак корабля,
Я ухожу душою сонной
В дальние края.

Твои глаза, где мысли скрытой
Не дано гореть,
Два зеркала, в которых слиты
Золото и медь.

Когда мелькаешь обнаженной
Мерною ступней,

Ты кажешься мне прирученной
Пляшущей змеей.

И голова младая, ленью
Отягощена,
Напоминает мне движенья
Юного слона.

А тело плавно подражает
Качке кораблей,
Когда они в волнах ныряют
Краем тонких рей.

Когда ты влагой уст влюбленных
Смочишь край зубов,
Как водами рек, напоенных
Снегом ледников,

Тогда душа моя вкушает
Терпкое вино,
И небо звездное стекает
К сердцу мне на дно.

ПАДАЛЬ

Ты помнишь ли, мой друг, что видел я с тобою
В один из теплых летних дней:
Ту падаль гнусную, у горки под сосною
Лежавшую, среди камней?

Задравши ноги вверх блудницею позорной,
Ядами жгучими полна,
Валялась без стыда она, дыша тлетворно,
И будто ласкам отдана.

И солнца луч сиял над падалью гниющей,
Чтоб, растопясь, она могла
Вернуть сторицею Природе всемогущей
Всё, что в одно она слила.

Глядели небеса на труп, их сердцу милый,
Цветком готовый расцвести.

Зловонием таким несло, что поспешила

Ты, вся бледнея, отойти.

Над вздутым животом летали мухи тучей,

И выходили чередой

Полки червей, слюной стекающих тягучей

По этой ветоши живой.

То восходило всё, то падало, как волны,

И труп сухим огнем трещал.

Казалось нам, что он, дыханьем слабым полный,

Всё разрастался и вспухал.

И мир тот издавал невнятный шум упорный,

Как дождь и ветер средь ветвей

Иль рожь сыпучая, когда крестьянин зерна

Бросает веялкой своей.

Всё становилось сном, стирались очертанья,

Как будто образы картин
Заброшенных, чей смысл в своем воспоминаньи
Творец воссоздает один.

За скалы убежав, скрывался пес голодный
И ждал, поджавши хвост меж ног,
Ухода нашего, чтоб оторвать свободно
Им недоеденный кусок.

— И всё же будешь ты такой, как мерзость эта,
В которой всё — чума и гной,
Звезда моих очей, луч солнечного света,
Ты, моя страсть и ангел мой!

Да, будешь ты такой, царица вожделений,
Когда, заслыша Смерти зов,
Уйдешь ты, под травой и зеленью растений,
Тлеть одиноко средь гробов.

Тогда, моя краса, скажи толпе провор-

ной

Тебя съедающих червей,

Что образ я храню и лик нерукотворный

Уж разложившихся страстей!

DE PROFUNDIS CLAMAVI

Молю о жалости, единая Отрада,
Со дна угрюмых бездн, где сердце пленено.
То мрачный мир, кругом всё сыро и темно,
И в сумраке плывут неведомые гады.

Шесть месяцев царит там солнце без тепла,
Других шесть месяцев земля покрыта тенью:
В полярной той стране одно лишь оскуденье;
— Ни зелени, ни струй, ни птичьего крыла!

На свете ничего ужасней быть не может
Той ночи, с Хаосом первоначальным схожей,
И злой холодности тех ледяных лучей;

Завидую судьбе последних я зверей,

Могущих в сне тупом забыть земное бремя,

Так медленно клубок разматывает время!

ВАМПИР

О ты, которая ножом
Мне сердце скорбное пронзила
И, словно стадо бесов, в нем
Всё размела и истребила.

Ты, для кого душа моя
Постелью стала и владеньем,
К тебе навек прикован я,
Как каторжник к своим мученьям,

Как игрока упрямый взор
К столу, как пьяница к стакану,
Как падаль к червю, и не стану
Скрывать проклятый мой позор!

Я попросил кинжал проворный
Вернуть мне волю прежних дней;
Я захотел, чтоб яд тлетворный
Помог трусливости моей.

Увы! от яда и кинжала
Мне был презрительный ответ:

«Судьбе ничтожный раб не жалок,
И для тебя свободы нет.

Безумец! — Если мы, оковы
Разбив, тебя освободим,
Ведь поцелуем ты своим
Труп воскресишь вампира снова!»

ЛЕТА

На сердце мне приляг, душа глухая,
Любимый тигр, ленивый, томный зверь.
Я погрузить ладонь хочу теперь
Во тьму волос, их трепетно лаская.

В душистые одежды я твои
Вновь погрузить главу хочу больную,
Вдыхая вновь, как розу неживую,
Дух сладостный былой моей любви.

Я спать хочу! Мне жизнь уж надоела!
В пленительном, как Смерть глубоком сне,
Свой поцелуй прижму я в тишине
К холодному, сверкающему телу.

Чтоб заглушить мой утомленный стон,
Я падаю к тебе в изнеможеньи,
В твоих устах река течет забвенья,
И Летой ласк твоих я упоен.

Моей судьбе, отныне мне желанной,
Я предался, принявший свой удел
Покорный раб, который захотел
Разжечь огонь, ему на пытку данный.

Я буду пить, чтоб горе без следа
Залить, яды снотворные, подруга,
Припав к концам груди твоей упругой,
Сердечных мук не знавшей никогда!

«С Еврейкой гнусною на ложе засыпая...»

С Еврейкой гнусною на ложе засыпая,
Как рядом с трупом спит другой застывший труп,
Я стал мечтать вблизи продажных этих губ
О женщине родной, желанием сгорая.

Предстала предо мной краса ее святая,
Взор, весь исполненный огня и нежных грез,
Благоуханный шлем ее густых голос, —
И память их я звал, для страсти оживая.

О, как бы целовал я стан упругий твой,
От свежих ног твоих до кос смолисто-черных
Запасы истощив ласк жгучих и повторных,

Когда бы, ввечеру, невольною слезой

Ты раз один могла, жестокая царица,
Затмить блестящие, холодные зеницы.

ПОСМЕРТНОЕ РАСКАЯНЬЕ

Когда ты будешь спать, красавица родная,
Под черным мрамором и грудою венков,
И заменять тебе и замок и альков
Дождливый будет склеп и яма ледяная;

И камень, грудь твою пугливую сжимая
И бедра томные под тяжестью оков,
Не даст тебе дышать и жаждать новых снов,
И в даль не убежит нога твоя младая,

Могила, друг моей мучительной мечты
(Могила ведь всегда поймет мечту поэта),
Шепнет среди глухой и вечной темноты:

«Какая польза в том, что вы ушли со

света,

Не испытавши нег и сердце погубя?»

— И жадный червь войдет раскаяньем в тебя.

КОШКА

Прекрасный зверь, иди ко мне на грудь.
Не выпускай когтей пока ты,
И дай ты мне глазами потонуть
В зрачках из стали и агата.

Когда рукой ласкаю долго я
И голову твою, и спину,
С отрадою всё новою скользя
По искрометной шерсти длинной,

В уме жену я вижу. Взор ее,
Как у тебя, мой зверь любимый,
Пронзителен, как жала острие.

И с ног до головы родимой
Пьянящий дух, опасный аромат
Вкруг тела смуглого дрожат.

DUELLUM

Схватились два врага; оружье засверкало

И в душном воздухе уж заблестела кровь.

— Те игры, тех мечей звон яростный — начало

Борьбы, когда царит над юностью любовь.

Мечи, как молодость, разбиты! Мы устали,

Подруга! Но зубов нам хватит и ногтей,

Чтоб заменить клинки, с предательской их сталью.

— О бешенство сердец и язвы злых страстей!

В овраг, где средь кустов скользят ночные звери,

Уж падают враги. Мириться им нельзя,

И кровь их обагрит сухие иглы терний.

— Та пропасть темный ад, где наши все друзья!

Покатимся туда, мой враг бесчеловечный,

Чтоб ненависти яд томил нас мукой вечной!

БАЛКОН

Владычица моя, о мать воспоминаний,
О ты, все радости и долг единый мой!
Ты вспомнишь красоту медлительных лобзаний,
И негу очага, и вечера покой.
Владычица моя, о мать воспоминаний!

Вечерние часы в сиянии огня:
Часы, когда балкон весь в розовом тумане.
Как грудь твоя цвела и сердце жгло меня!
Мы молвили не раз бессмертные признанья,
В вечерние часы, в сиянии огня!

Как солнца хороши в час теплого заката!
Как небо глубоко! Как властен сердца бой!
Царица и кумир, я крови ароматы,

Казалось мне, вдыхал, склонившись над тобой.

Как солнца хороши в час теплого заката!

Сгущалась ночь кругом, как черная стена.

Я в ней твои зрачки угадывал глазами.

Я уст пил сладкий яд и чашу пил до дна,

И ноги обнимал я братскими руками.

Сгущалась ночь кругом, как черная стена.

Умею воскрешать счастливые мгновенья

И вновь хочу в мечтах колена целовать.

Ведь красоту твою и страстное томленье

Вне тела милого и сердца не сыскать.

Умею воскрешать счастливые мгновенья.

Те клятвы, аромат и ласки без конца

Восстанут ли из бездн, неизмеримых оком,

Как солнца юные плывут на небеса,
Омывшись перед тем на дне морей глубоком?
— О клятвы, аромат и ласки без конца!

ОДЕРЖИМЫЙ

Покрылось солнце мглой ненастья. Как оно,
Луна моей души, закутайся ты в тени.
Безмолвствуй иль грусти, предайся снам иль лени,
Жестокой Скукою томимая давно;

В печали глаз твоих мне счастие дано.
Но если, как звезда, чье кончилось затменье,
Сиять захочешь там, где страсти и томленье,
То выйди из ножон, кинжал! Мне всё равно.

Зажги огонь в зрачках от люстр алмазно-ярких;
Зажги в глазах мужчин огонь желаний жарких;
В тебе всё дивный дар, то сонный, то живой.

Будь всем, чем хочешь ты, тьмой ночи
иль денницей.
Всё тело, задрожав от страсти рокo-
вой,
Кричит: «Хвала тебе, мой Демон и Ца-
рица!»

ТЕНЬ

I

Мрак

В тюрьме моей, в стране тоски бездонной,
Куда мой Рок давно меня изгнал,
Куда рассвет златой не проникал,
Где я один остался с Ночью сонной

И предо мной на черном полотне
Проходит ряд бесформенных видений,
Где осудил я сердце на мученья
И жгу его на медленном огне,

Тень царственно-младая временами
Блестит, скользит и реет предо мной
Во весь свой рост, а я, следя глазами

За гостьею и томной, и немой,
Вновь узнаю тот призрак сладострастный.
Она! Мой друг, хоть темный, но пре-

красный.

II

Аромат

Читатель мой, скажи, вдыхал ли ты
В медлительном и сладком упоеньи
Вздох ладана среди церковных теней
Иль хрупкие, засохшие цветы?

Глубоких чар немое опьяненье!
Мы видим в нем прошедшего черты.
Так прежние, забытые мечты
Рождает в нас родной груди томленье.

Из вьющихся, густых ее волос
— Из ладанки и сонного кадила —
Во тьме волна душистая всходила,

И пряный дух всё ширился и рос
Вокруг одежд, с их шелком и парчою,
Пропитанных невинностью младою.

III

Рама

Как рама вкруг картины, хоть рукою
Хваленою написана она,
Холст оградив от мира, как стена,
Ей придает вид странного покоя,

Так роскошью, казавшейся родною,
Ее краса была окружена.
Не выдала теней ее весна,
И всё кругом служило ей каймою.

И мнилось ей, я помню, раз иной,
Что всё ее любило; предо мной
Она белью и шелку отдавала

Нагую грудь, под лаской немой
То вдруг дрожа, то млея, и красой
Звериною и детскою дышала.

IV

Портрет

Болезнь и смерть испепеляют пламя
Светло для нас пылавшего огня.

От этих глаз, с их блеском и слезами,
От этих уст, восхитивших меня,

От этих ласк, властительно целебных,
От этих нег, с их яростным лучом,
Остался лишь, по воле сил враждебных,
Повыцветший портрет карандашом.

Он, как и я, забытый умирает
Вдали людей, и Время, злой старик,
Его — что день — крылом седым стирает.

И жизнь и сны ты косишь каждый миг,
Но не убьешь в душе, палач лукавый,
Той, кто была мне радостью и славой!

«Даю мои стихи тебе, и если звон…»

Даю мои стихи тебе, и если звон
Их счастливо дойдет до предков отдаленных
И вновь зажжет мечты в мозгах их утомленных
— Корабль, которому попутен аквилон, —

То память о тебе, преданье муз плененных,
Вновь утомит сердца, как гуслей мерный стон,
И цепью братскою и тайной сопряжен
Твой образ будет вновь с напевом рифм влюбленных.

Отверженное всем на свете существо,
Признавшее родным меня лишь одного,
О ты, которая, летая легкой тенью,

Привыкла попирать в презрении немом
Род смертных, для кого ты горькое

мученье,

Богиня властная с бестрепетным челом!

SEMPER EADEM

«Откуда странные, сказали вы, печали,
Разлившиеся в вас, как черный вал морской?»
— Когда мы все плоды сердечных нег сорвали,
Жизнь наша зло, и дух насыщен наш тоской.

Тут тайны нет, и боль легко понятна эта.
Для всех она ясна, как ваш счастливый вид.
Мой любопытный друг, не ждите вы ответа,
И голос нежный ваш пусть лучше промолчит.

Не надо слов, дитя! Душа, всегда младая!
Веселые уста! Жизнь в сердце побеждая,
Смерть может тайными нас узами

связать.

О, дайте, дайте мне забыться ложью властной,

На дно прекрасных глаз как в сон уйти прекрасный

И в сумраке ресниц надолго задремать.

ВСЯ

Дух зла мой кров уединенный
Сегодня утром посетил
И, чтоб смутить мой ум влюбленный,
С улыбкой хитрою спросил:

«Средь всех волшебных проявлений
Ее пленительных красот,
Средь бликов розовых и теней
Младого тела, что влечет

Сильнее?» — С верою живою
Душа ответила Врагу:
«В ней всё бальзам, и ничего я
Любить особо не могу.

Когда пленяет всё, не знаю,
Чем очарован больше я.
Она как ночь покоит Мая
И ослепляет, как заря.

Такой гармонией священной
В ее красотах дышит всё,

Что недоступно мысли бренной
Отметить каждый звук ее.

О тайна дивных превращений
И чувств властительный обман!
Ее дыханье — словно пенье,
А голос — сладостный дурман!»

«Что скажешь ты, душа, скорбевшая напрасно...»

Что скажешь ты, душа, скорбевшая напрасно,
Что скажешь, сердце, вновь восставшее от сна,
Подруге благостной, желанной и прекрасной,
Чей взор вас оживил, как дивная весна?

Мы громко воспевать хвалы ее желаем;
Власть кроткую ее ни с чем мы не сравним;
Ее святая плоть благоухает Раем,
И глаз нас осенил сиянием своим.

Будь это в час ночной, в глухом уединеньи,
Будь то на улице, средь шумного движенья,
Как факел, в воздухе плывут ее черты.

И слышно: «Возлюбив меня, мои законы

Прими и будь рабом одной лишь Красоты;

Я Страж небесный твой, я Муза, я Мадонна».

ЖИВОЙ ФАКЕЛ

Они мои вожди, глаза те молодые,
Которым Ангел дал блеск сильный, как магнит,
Святые близнецы и братья мне родные.
Алмазный их огонь в глазах моих горит.

Спасая от сетей и тяжких прегрешений,
Они меня ведут путями Красоты!
Они мои рабы, у них я в услуженьи;
Живому факелу покорны все мечты.

Прелестные глаза, вы светите лучами
Свечей церковных днем — их яркий солнца свет
Томит, но всё горит их сказочное пламя;

Они возносят Смерть, вы славите Рассвет;
Вы славите мою воскреснувшую душу,

Светила, чьих лучей и солнце не затушит.

ТОЙ, ЧТО СЛИШКОМ ВЕСЕЛА

Твоя краса с ее огнем,
Как вид прекрасный, взор ласкает;
Смех на лице твоем играет,
Как свежий ветер ясным днем.

Тебя увидевши, прохожий
Вдруг соблазнен, в миг ярких встреч,
Здоровьем рук твоих и плеч,
С их ослепительною кожей.

Сияют радугой цвета
Нарядов, на тебе надетых;
В ответ рождается в поэтах
Светло цветущая мечта.

Убор безумных одеяний —
Твоей эмблема пестроты.
Безумная, внушаешь ты
И ненависть и обожанье.

Бывали дни — среди садов,
Где я влачил свое бессилье,

По мне насмешливо скользили
Лучи с небесных берегов;

И блеск земли в начале года
Был так обиден, что в сердцах
Я мстить пытался на цветах
Высокомерию природы.

Так, в час ночной, хотел бы я,
Покорный страсти сердцем пленным,
К твоим красотам вожделенным
Скользнуть бесшумно, как змея,

И тело наказать младое,
Грудь синяками всю покрыть,
А в лоно острый нож вонзить,
Чтоб кровь из раны шла рекою

И в упоеньи до утра
Я мог сквозь губы те немые
Нежней и ярче, чем другие,
В тебя свой яд вливать, сестра!

ПРЕВРАТНОСТЬ

Веселый Ангел мой, знакомы ль вы с томленьем,

Раскаяньем, стыдом, и стоном, и тоской,

И смутным ужасом в глубокой тьме ночной,

Стесняющим нам грудь под тягостным давленьем?

Веселый Ангел мой, знакомы ль вы с томленьем?

Незлобный Ангел мой, знакомы ль вы с враждою,

Сжимали ль кулаки вы с желчною слезой,

Когда нас Месть зовет на гибель за собой

И властвует, как вождь, над нашею душою?

Незлобный Ангел мой, знакомы ль вы с враждою?

Цветущий Ангел мой, знакомы ль вам недуги,

Которые вдоль стен немых госпиталей

Толпой слепцов идут, ища скупых лучей

И с шепотом держась неясным друг за друга?

Цветущий Ангел мой, знакомы ль вам недуги?

Прекрасный Ангел мой, знакомы ль вам морщины,

И страх пред старостью, и тот ужасный час,

Когда лишь преданность видна нам в блеске глаз,

Сиявших перед тем любовию единой?

Прекрасный Ангел мой, знакомы ль вам морщины?

Мой Ангел, полный грез, и радости, и света,

Давид пред смертию здоровия и сил

У тела твоего младого бы просил,

Но жажду от тебя, мой Ангел, лишь привета,

Мой Ангел, полный грез, и радости, и света!

ПРИЗНАНИЕ

Гуляли только раз мы с вами, друг желанный,
И ваша гладкая рука
Лежала на моей (в снах памяти туманной
Та ласка всё еще ярка).

Был поздний час; как лик сверкающей медали,
Светила полная луна;
И, как река, часы ночные заливали
Париж, забывшийся средь сна.

В тени домов, скользя в ворота их немые,
Шли кошки, слух насторожа,
Иль шагом бархатным, как призраки родные,
Нас провожали, не спеша.

И средь той близости, расцветшей под луною,

Среди свободы той ночной,

У вас, живой орган, звучащий лишь одною

Лучистой радостью младой,

У вас, сияющей и счастливой, как зори

И как трубы веселый зов,

Вдруг нота странная, исполненная горя,

Тут вырвалась, как из оков.

Угрюмое дитя, тупое и больное,

Позор в глазах семьи своей,

Как пленник жившее за темною стеною

И далеко от всех очей.

Мой ангел, пел тот звук, напитанный тоскою:

«Нет постоянства на земле,

И черствый ум сквозит, под маскою любою,

На человеческом челе.

Неблагодарный труд считаться записною

Красавицей и быть простой
Плясуньей площадной, застывшей пред толпою
В улыбке скучно неживой.

Построить на сердцах — напрасное стремленье.
Всё вянет, юность и любовь,
Пока не заберет их хладное забвенье,
Чтоб Вечности вернуть их вновь!»

Я часто вспоминал луны златой сиянье,
В тот час и томный, и немой,
И шепот горестный ужасного признанья,
Вдруг прозвучавший предо мной.

ДУХОВНАЯ ЗАРЯ

Когда к развратникам войдет заря златая
И синий Идеал нарушит их покой,
То под таинственной и мстительной рукой
В скотине дремлющей проснется Ангел Рая.

Небес Духовных даль и девственный эфир,
Пред жертвами страстей во мраке жизни тесной,
Всё углубляются и дух влекут, как бездна.
Богиня светлая, сияющий Кумир.

Так реет без конца пред сонными глазами,
В угаре и дыму, к исходу злых ночей,
Твой лик, еще светлей, и чище, и нежней.

Луч солнца погасил свечей дымящих пламя;

Так призрак твой, Душа, сильнее суеты,

И на бессмертное походишь Солнце ты.

ГАРМОНИЯ ВЕЧЕРА

Приходит час, когда волной святых курений

Дыхание цветов уносится в эфир,

И звуки вечера витают, как зефир;

Вальс грустно-медленный и нежное томленье!

Дыхание цветов уносится в эфир,

И скрипка вся дрожит, как сердце от мучений;

Вальс грустно-медленный и нежное томленье;

Прекрасны небеса, как вечный синий пир.

А скрипка всё дрожит, как сердце от мучений,

Как сердце нежное, взлюбившее весь мир!

Прекрасны небеса, как вечный синий пир;

Луч солнца потонул в густой кровавой

тени.

На сердце нежное, взлюбившее весь мир,

Прошедших светлых дней ложится отраженье!

Луч солнца потонул в густой кровавой тени…

Но память о тебе сияет, как потир!

ФЛАКОН

Есть крепкие духи; они проходят всюду,
И не преграда им стеклянные сосуды.
Открыв привезенный с Востока сундучок,
В котором жалобно скрипит тугой замок,

Иль в доме нежилом раскрывши шкаф старинный,
Дышащий затхлостью и полный паутиной,
Находят иногда заброшенный флакон,
Где всё еще жива душа былых времен.

Дремали думы там, как бабочек рой сонный,
Легко дрожа во тьме, уныньем насыщённой.
Расправив крылья вновь, летят они толпой
Лазурной, розовой и ярко-золотой.

Воспоминание порхает легкой тенью
В смущенном воздухе; взор меркнет, и томленье,
Наш полонивши ум, его изо всех сил
Толкает к пропасти, где ряд родных могил.

Душа повалена у бездны, век зиявшей,
Где, Лазарь тлеющий, свой саван разорвавший,
Проснувшись, движется, как призрачный мертвец,
Любовь увядшая давно немых сердец.

Так я, когда мое забудут люди имя
И в шкаф я сумрачный заброшен буду ими,
Надтреснутый флакон, ненужный и пустой,
Покрытый пылью весь и плесенью густой,

Став гробом для тебя, желанная проказа,
Свидетель буду чар твоих и злой заразы!

Отрава Райская! Пьянящее вино,

В котором жизнь и смерть найти мне суждено!

ЯД

Вино скрывает грязь в любезных нам притонах,
Под шелком и под парчой,
И светят портики волшебные порой
Сквозь злато паров червленых
Его, как солнца круг во мгле вечеровой.

Дым опия раскрыл неведомые дали,
Безбрежность мечтам дает,
Вневременный кумир для страсти создает
И негу, острей печали,
В измученную грудь нам свыше меры льет.

Не стоит это всё ядов, сокрытых в зелье
Зеленых твоих очей,
Озер тех, где душа дрожит в сетях лучей...
К ним грезы толпой слетели,

Чтоб жажду утолить, в часы глухих ночей.

Не стоит это всё мучительного чуда
Соленой твоей слюны,
Дарующей душе забвение и сны
И властно ее отсюда
Влекущей к берегам безрадостной страны.

ПАСМУРНОЕ НЕБО

Твой взор как будто бы туманами одет;
Твой глаз загадочный, меняющий свой цвет,
То вдруг мечтателен, то грустен, то влюблен,
Ленивый отразив и бледный небосклон.

Ты как слепые дни с их теплой пеленой,
Когда сердца полны невольною слезой,
И, чувствуя в себе неведомый недуг,
Взволнованная кровь тревожит спящий дух.

Походишь ты порой на светлый край небес,
Когда горит закат сквозь пасмурных завес…
Заплаканный простор, как ярко светишь ты
Под пламенем лучей, сверкнувших с высоты.

Жена опасная, желанные края!

Твой снег и ваш мороз любить сумею ль я;

Смогу ли из зимы безжалостной извлечь

Я наслаждения острей, чем лед и меч?

КОШКА

I

Ночная кошка, словно дома,
Гуляет у меня в мозгу,
Мяуча тихо. Чуть могу
Расслышать голос я знакомый,

Так нежен он и заглушен.
Но, равнодушный иль сердитый,
В нем власть и ласка вечно слиты,
И зовом я заворожен.

Как струи, звуки те запели
На дне угрюмых дум моих,
Наполнив грудь, как плавный стих,
И веселя меня, как зелье.

Тот голос лечит боль и страх
И все содержит наслажденья.
Для самых длинных он речений
Нужды не чувствует в словах.

Нет, никакой смычок не может
Так струны сердца задевать,
Заставив их затрепетать
Столь упоительною дрожью,

Как чудный голос кошки той,
В котором, силою могучей,
Всё слито в тайное созвучье,
Как в песне ангелов святой!

II

Так сладко пахнет мех звериный,
Что надушил всего меня,
Когда под вечер как-то я
Его погладил раз единый.

Моя душа — ее чертог
И нераздельное владенье.
Подвластно всё ее веленью.
Она, быть может, дух иль бог.

Когда покорно обращаю
Глаза я к кошке той, чей вид
Мысль привлекает, как магнит,

И взгляд в себя я погружаю,

Мой удивленный видит взор
Огонь зениц ее зеленых,
Как фонари во тьме зажженных,
Глядящих на меня в упор.

ПРЕКРАСНЫЙ КОРАБЛЬ

Я рассказать хочу, волшебница младая,
О прелестях твоих, их чары воспевая,
И всех оттенках красоты,
Где слиты детские и зрелые черты.

Когда одеждами ты воздух заметаешь,
То мне медлительный корабль напоминаешь,
Скользящий прочь от берегов
Прозрачною стезей, по воле парусов.

Плечами поводя, качая шеей гибкой,
Ты клонишь голову со странною улыбкой;
Покоем царственным блестя,
Плывешь передо мной, державное дитя.

Я рассказать хочу, волшебница младая,
О прелестях твоих, их чары воспевая,
И всех оттенках красоты,
Где слиты детские и зрелые черты.

Твоя крутая грудь, в тюрьме ее атласной,

Грудь смуглая — ларец таинственно прекрасный,

Чьи створы гладкие блестят

И словно два щита сверкающих горят.

Щиты прелестные, с живыми остриями,

Ларец для сладких тайн, уставленный плодами,

Душистым медом и вином,

Всесильными, как бред, над сердцем и умом.

Когда одеждами ты воздух заметаешь,

То мне медлительный корабль напоминаешь,

Скользящий прочь от берегов

Прозрачною стезей, по воле парусов;

А ноги стройные, сквозь легкие воланы,

Мечтанья жгучие влекут красой желанной,

Как две колдуньи, что, во мгле

Скрываясь, месят яд губительный в котле.

Рукам твоим легко бороться с силачами,
И жмешь любовника их светлыми тисками,
Как будто хочешь ты, средь нег,
В груди запечатлеть его черты навек.

Плечами поводя, качая шеей гибкой,
Ты клонишь голову со странною улыбкой;
Покоем царственным блестя,
Плывешь передо мной, державное дитя.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПУТЬ

Дочь моя, сестра,
Нам бежать пора
В дальний край, покуда можем,
И средь долгих нег
Наш окончить век
В царстве, на тебя похожем.
Солнца влажный луч,
Средь унылых туч,
Мне навеет те же грезы,
Что твои глаза,
Словно бирюза,
Светло-синие сквозь слезы.

Там всё мир и красота,
Роскошь, нега и мечта.

В комнате твоей
Мебель прежних дней
Отражала б свет лучистый.
Розы дальних стран,

Сладкий их дурман
И курений дым душистый,
Лепка пышных зал,
Глубина зеркал
И востока блеск и дрема,
Всё бы нам тайком
Нежным языком
Говорило, что мы дома.

Там всё мир и красота,
Роскошь, нега и мечта.

На воде, вдали,
Дремлют корабли,
Вечные друзья скитаний.
Им назначил Рок
Целью их дорог
Утолять твои желанья.
Солнечный заход
Слоем ровным льет
На столицу и каналы
Злато и сирень,
И волшебный день

Засыпает в славе алой.

Там всё мир и красота,
Роскошь, нега и мечта.

НЕПОПРАВИМОЕ

I

Раскаянье, увы, с годами всё живей!
Оно ворчит и скалит зубы,
И кормим мы его, как мертвецы червей,
Как гусениц лист горький дуба.
Раскаянье, увы, с годами всё живей!

В каком вине, в струях каких смертельных зелий
Потопим древнего врага,
Кому пиры и кровь еще не надоели,
Чья месть упорная долга?
В каком вине, в струях каких смертельных зелий?

Колдунья мудрая, скажи, коль можешь ты,
Душе, богами позабытой,
Как раненый солдат, кого средь темноты

Задели тяжкие копыта,

Колдунья мудрая, скажи, коль можешь ты,

Тому несчастному, кого и волк и ворон

Уж сторожат, застыв окрест,

— Солдату бедному, — ужель он не достоин

Могилу получить и крест,

Тот умирающий, над кем уж реет ворон?

Возможно ль осветить тьму мутную небес

И разорвать густые тени,

Чернее копоти, в которых день исчез

И меркнут звездные селенья?

Возможно ль осветить тьму мутную небес?

Надежда, свечкою горевшая, задута

В таверне; темен уж порог;

Луна не светит нам, и не найдем приюта,

Устав от тягостных дорог.

Горевшая свеча уж Дьяволом задута.

Колдунья, знаешь ли тоску души слепой,
Грехам которой нет прощенья,
И ведома ли боль, пронзившая стрелой
Грудь, бывшую ее мишенью?
Колдунья, знаешь ли тоску души слепой?

Непоправимое прогрызть зубами хочет
Нам душу, терем уж пустой,
И целый день оно фундамент зданья точит,
Как рой термитов за стеной.
Непоправимое прогрызть нам душу хочет.

II

Я видел иногда в театрах городских,
Где громко музыка играла,
Как фея тьму кулис грозящих и глухих
Зарей чудесной зажигала.

Я видел иногда в театрах городских

Златого Ангела с прозрачными крылами,

Кто был сильнее Сатаны,

Но сердце, уж давно покинутое снами,

Театр, в котором все должны

Вотще ждать Ангела с прозрачными крылами.

БЕСЕДА

Ты, осени лазурь, и ясные светила!
Но грусть во мне опять вскипела, как волна,
Оставив на губах угрюмых горечь ила,
В час бури всплывшего с таинственного дна.

— Напрасно грудь мою ласкаешь ты руками;
Всё то, что ищешь там, мой друг, истреблено
Давно уж женскими когтями и зубами,
И сердце бедное уж съедено давно.

Душа моя дворец, запятнанный толпою,
С ее бесчинствами, и пьянством, и борьбой.
— Дух сладостный плывет над грудью молодою!..

Бич смертных, Красота, не спорить

мне с тобой!

Глазами яркими, в которых заблестели

Огни, сожги всё то, что звери не доели.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ

I

Погрузимся опять в холодные мы тени.
Прощай ты, яркий свет коротких летних дней!
Уж слышу во дворах унылое паденье
Дров, ударяющих о плиты их камней.

Зима вновь вся войдет в меня: и страх, и злоба,
И ненависть, и дрожь, и труд тяжелый мой!
Как солнце полюса в аду слепого гроба,
Так сердце глыбою застынет ледяной.

Я слушаю, дрожа, стук каждого полена.
Так остов новых плах под молотком гремит.
Мой дух уж обречен, как башенные стены,

Которые таран без устали громит.

И снится мне под звук, исполненный печали,

Что кто-то второпях по крышке гроба бьет…

Кто в нем? — Уж лета нет, дни осени настали,

И шум таинственный звучит нам, как отход.

II

Люблю я глаз твоих зеленое мерцанье,

Голубка, но теперь всё опостыло мне.

Ни ласкам, ни огню не заменить сиянья

Полуденных лучей на ветреной волне.

Но всё ж меня любить родимым сердцем надо!

Неблагодарного лишить нельзя забот.

Подруга иль сестра, будь краткою усладой,

Как осень пышная иль солнечный заход.

Недолго! Смерть нас ждет, свои расставив сети.

К коленам дай твоим склониться головой

И с грустью вспоминать о белом жгучем лете,

Впивая осени луч нежный и златой.

ОДНОЙ МАДОННЕ

Дарообещание в испанском вкусе

Воздвигну для тебя, подруга и Мадонна,
Подземный я алтарь в груди моей бездомной,
И выстрою тебе, во тьме, на самом дне,
Вдали от суеты, в безлюдной тишине,
Придел, весь золотом сияющий и синью,
Где будешь ты стоять, застывшая богиня.
Скую из золота шлифованных стихов,
В котором вкраплены созвучья звонких слов,
Для головы твоей огромную корону.
Из ревности моей, о смертная Мадонна,
Сумею царский плащ, тяжелый и прямой,
Я для тебя скроить; как будто за сте-

ной

Он прелесть утаит твою от жадных взоров,

И бисер слез моих блеснет на нем узором.

Одену я тебя в волну моей любви,

Которая, обняв красоты все твои,

Дрожит на остриях и спит в долинах тела,

Целуя без конца стан розовый и белый.

Из преклонения тебе я башмачки

Атласные сошью, божественной ноги

Едва достойные, и, сжав в объятьях крепко

Ее, они хранить прелестный будут слепок.

И если не смогу серебряный достать

Я месяц и его подножьем тебе дать,

Повергну я Змею, грызущую мне лоно,

Чтоб попирать могла пятою оскорбленной,

Царица властная, кем люди спасены,

Ты зверя, полного отравленной слюны.

Сиянье дум моих, как свечи, загорится
Пред светлым алтарем и девственной Царицей,
Лучами озарив лазурный потолок,
И будет век сиять их огненный зрачок.
И как во мне живет и дышит всё тобою,
Так миррой станет всё, и нардом, и смолою,
И восходить к твоей вершине снеговой
Туманом будет дух, насыщенный грозой.

Чтоб ты была во всем сходна с Марией Девой
И чтоб любовь мою слить с темным ядом гнева,
Я смертных семь грехов, палач твоих ночей,
Возьму, и, сделав семь отточенных ножей
Из них тебе на казнь, я, целясь безучастно
В глубь сердца, полного огнем любви

всевластной,

Сумею все их в грудь дрожащую воткнуть,

В твою кровавую, рыдающую грудь!

ПОПОЛУДЕННАЯ ПЕСНЯ

Хоть изгибы злых бровей
Вид дают тебе опасный
И не рая отблеск красный
В глубине твоих очей,

Я люблю тебя доныне,
Страсть жестокая моя,
И тебе подвластен я,
Как покорный жрец богине.

И пустыни и лесов
В косах слышен запах пряный.
Голову ты клонишь странно,
Как на чей-то тайный зов.

Аромат по коже темной
Бродит, как вокруг кадил;
Словно вечер, сердцу мил
Образ нимфы смугло-томной.

Нет! Все зелья не сравнить
С красотой твоей ленивой.

Страстные твои порывы
Могут мертвых оживить.

В груди нежные и лоно
Стан и бедра влюблены,
И подушки пленены
Негою твоею сонной.

Иногда, горя в огне
Тайном бешеных желаний,
Ты кусаешься, в молчаньи
Расточая ласки мне.

Смуглый друг, смеясь небрежно,
Грудь ты мне зубами рвешь,
А потом на сердце льешь
Взор, как лунный отблеск нежный.

Под прелестною ногой
И под туфелькой твоею
В дар кладу я, не жалея,
Душу, жизнь и гений мой.

Исцелила ты все раны
Силой красок и лучей!
Взрыв живительных огней

В каторге моей туманной!

СИЗИНА

Представьте вы себе Диану средь дубравы,
В погоне за зверьми со сворой резвых псов,
Ее нагую грудь, и шумные забавы,
И гордый, быстрый бег в тиши густых лесов.

Вы деву помните ль, во дни борьбы кровавой
На приступ ведшую парижских босяков
И с пламенем в очах, в надежде новой славы,
Всходившую с мечом по лестницам дворцов?

Сизина такова! — Но яростная дева
Доступна жалости не менее, чем гневу;
Дух, обезумевший от буйного труда,
Слаб пред просителем, как безоружный

воин,

И в сердце, выжженном страстями, есть всегда

Источник светлых слез для тех, кто их достоин.

FRANCISCAE MEAE LAUDES

На струнах новых воспою
Подругу новую свою
И сердце тем развеселю.

Венками будь оплетена,
О благодатная жена,
Которой жизнь освящена.

Твой всемогущий поцелуй
Дает забвенье; очаруй
Мой дух и раны уврачуй.

В бессильи сердца моего
Я зрел пороков торжество,
Но ты явилась, Божество,

Как светлая звезда морей,
В час бури, взорам рыбарей.
— Твоих я пленник алтарей.

Купель с целебною водой,
Верни ты голос молодой
Устам, замученным бедой.

Что было грязно — ты сожгла;
Что было грубо — убрала;
Тому, что слабо — сил дала.

Бездомному — очаг родной,
Лампады свет во тьме ночной,
Правь неизменно мудро мной!

Грудь утомленную согрей,
Источник жизни, и пролей
Благоухающий елей.

Щит целомудрия, гори
У чресл моих и до зари
Сны безмятежные дари.

Потир, которому дано
Свой блеск и дар сливать в одно,
Франциска, дивное вино!

КРЕОЛКЕ

В стране, ласкаемой лучами и душистой,
Там, где раскинули пурпуровый шатер
Деревья и в тени всё дышит ленью мглистой,
Креолку я знавал и помню до сих пор.

На шее царственной и смугло-золотистой
Волшебницы цветет тяжелых кос убор;
Она идет легко, Дианою лучистой,
С улыбкой тихою, и чист открытый взор.

О, если бы могли вы в край уехать славный
И над Луарою иль Сеною державной
Там в замке царствовать, в тиши его гербов,

То стали бы для вас, в садах, жары не

знавших,

Сонеты расцветать в груди поэтов, ставших

От блеска ваших глаз покорнее рабов!

MOESTA ET ERRABUNDA

Душа твоя порой стремится ли, Ага-
та,
Над морем мерзостным глухих домов
взлетев,
К волнам иных морей, где всё лазурь и
злато,
И глубь прозрачная, как очи юных дев?
Душа твоя порой томится ли, Агата?

Безбрежный океан нам отдых от тру-
дов.
Кто хриплому певцу, бушующему мо-
рю,
Под громогласный вой разгневанных
ветров
Высокую дал власть баюкать наше
горе?
Безбрежный океан нам отдых от тру-
дов.

Развейтесь, паруса свободные фрегата;
Умчите вы меня от здешних зол и слез.

Скажите, просит ли печальная Агата
Порою: «От обид, и ран, и жгучих грез
Умчите, паруса свободные фрегата».

Как далеки луга душистые твои,
Эдем, где всё кругом полно любви и света,
Где любим лишь одно достойное любви
И сердце негами блаженными согрето.
Как далеки луга душистые твои,

Рай зеленеющий, страна любви невинной,
Объятья, песни, бег и запахи цветов,
Дрожащих скрипок зов за рощами долины,
Вино по вечерам под кущами садов.
Рай зеленеющий, страна любви невинной,

Обитель тайных нег, безгрешный, светлый Рай,
Ужели отошел ты далее Китая,
И может ли наш стон вернуть тот дивный край;

Наполнит ли опять песнь наша молодая

Обитель тайных нег, безгрешный, светлый Рай?

ПРИЗРАК

Как ангелы, чей взор грозится,
Я проберусь в твою светлицу
И тихо проскользну по ней
К тебе, с толпой ночных теней.

Я подарю тебе лобзанья
Морозней лунного сиянья
И подколодною змеей
Стан обовью дрожащий твой.

Когда рассвет настанет бледный,
Я от тебя умчусь бесследно.
Вмиг опустеет твой покой.

Как друг живой — любовью нежной,
Хочу над юностью мятежной
Царить я страхом и тоской!

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Мне говорят глаза, прозрачные как лед:
«Мой друг, чем объяснить твое ко мне влеченье?»
Ласкайся и молчи! Душа среди мучений
Лишь памятью о днях безоблачных живет

И тайну грешную делить не позовет
Подругу, чья рука готова дать забвенье.
Я темной повести сотру изображенье.
Мне ненавистна страсть, и ум меня гнетет.

Люби меня без слов! Любовь, таясь за тенью,
Уж вынула стрелу и верный лук берет.
Мой ум старинные те стрелы узнает:

Безумье, ужас, смерть. — Цветок ты мой осенний,
В обоих нас заря последняя встает,

О белое мое, холодное виденье.

ПЕЧАЛЬ ЛУНЫ

Луна ленивее обычного мечтает;
Как дева юная среди густых теней
Рукою легкою рассеянно ласкает
На ложе, перед сном, округлости грудей,

Она, предавшись вся мечтам и вожделенью,
На тучах шелковых лежит средь темноты,
Свой устремивши взор на белые виденья,
Взошедшие кругом в лазури, как цветы.

Когда на этот шар, в истоме молчаливой,
Слезу порой луна роняет сиротливо,
То верный ей поэт, бессонных друг ночей,

В ладонь берет слезу, сияющую бледно
Опалом, и в груди ее, как дар заветный,

Он прячет, далеко от солнечных лучей!

КОШКИ

Рабы седых наук и страстных вожделений
Равно скучали бы на склоне зрелых дней
Без кошек царственных, хранительниц огней,
Враждебных, как они, морозам и движенью.

Взалкав познания и сладострастных нег,
Они взлюбили тишь и тени ночи черной.
Коль иго перенесть могли б они покорно,
Их в упряжь бы свою взял бог подземных рек.

Задумавшись, они немеют величаво,
Как сфинксы древние на пепелищах славы,
Что забываются невозмутимым сном.

Шерсть плодовитых чресл их странно шевелится,

Вся в искрах сказочных, и золотым песком

Покраплены слегка их вещие зеницы.

СОВЫ

Под тисами, привычной сенью,
Сидят седые совы в ряд,
Как будто боги, и глядят
Кровавым глазом, полным лени.

Они, застыв недвижно, ждут
Часов томительно-печальных,
Когда вослед лучей прощальных
Ночные тени подойдут.

И мудрецу пример те птицы,
Что в мире должен он страшиться
Движения и суеты;

Ведь смертный, грезой опьяненный,
Всегда наказан за мечты
Души, в скитания влюбленной.

ТРУБКА

Я трубка автора; меня
Он курит день и ночь, и стала
На черных женщин Сенегала
Я походить, цвет изменя.

Когда он мучится, кляня
Судьбу, дымлюсь, как домик малый,
Где будет ужинать усталый
Крестьянин на исходе дня.

Его качаю в синей сети,
Рожденной в огненных устах.
В туманных, сладостных мечтах

Всё забывает он на свете.
На сердце — мира торжество,
И отдыхает ум его.

МУЗЫКА

Порой по музыке, как по морю, плыву!
К бледному светилу
Сквозь очарованный туман иль синеву
Мчат меня ветрила;

Надувши легкие, как паруса, и полн
Смелости и силы,
Несусь я по хребту нагроможденных волн,
Темных, как могила;

Мятежных кораблей я чувствую в себе
Муку, дрожь и страсти;
Лечу над бездною безбрежною, в борьбе

С бурей, в час ненастья.
— Иль стихнет ветер вдруг, и сны мои видны
В зеркале волны.

МОГИЛА ПРОКЛЯТОГО ПОЭТА

Коль ночью темною и сонной
Один из верных вам друзей
Труп похоронит отлученный
В развалинах, среди полей,

Там, в час когда, светя невинно,
Уходят звезды на покой,
Паук протянет паутины
И змей заблещет чешуей.

Слышны вам будут чередою
Над осужденной головою
Вой раздирающий волков,

Голодный шабаш ведьм шумливых,
Забавы старцев похотливых
И совещания воров.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА

На лбу нелепого и жуткого скелета
Корона золота сусального надета,
Порфиру и венец державный заменя.
Без шпор и без хлыста измучил он коня,
Такого же, как он, костлявого, и в пене
У клячи ноздри все, и гнет она колени.
Проходят так они простором мировым,
Вселенную топча копытом роковым;
Угрюмый всадник меч пылающий возносит
Над безымянною толпой и жатву косит,
И, словно князь сады родимого дворца,
Обходит кладбища, которым нет конца
И где лежат, в лучах безрадостного света,
Народы Ветхого и Нового Завета.

ВЕСЕЛЫЙ МЕРТВЕЦ

Средь виноградников, над мирною рекой,
Могилу вырою, поглубже да посуше,
Где мог бы уложить я кости на покой,
Забвенье прежних дней ничем уж не наруша.

Не надо гроба мне, ни жалости людской;
Слезы я не прошу сочувственной, и лучше,
Чем мне унизиться до слабости такой,
Позволю воронам клевать живую тушу.

О черви! Палачи без слуха и без глаз!
Веселый сходит к вам мертвец на этот раз!
Ползите, мудрецы, рожденные гниеньем,
Питаясь без стыда развалиной моей

И, если сможете, последним став мученьем

Для тела без души и мертвого мертвей!

БОЧКА НЕНАВИСТИ

Ты, бочка вечная измученных Данаид,
О Ненависть! Хоть Месть безумная рукой
Могучей без конца в пасть темную вливает
Потоки слез и кровь, текущую рекой,

Но Демон дно твое всё снова пробивает
И снова Мести труд напрасен вековой.
Вотще она тела жертв мертвых воскрешает,
Чтоб кровь вновь выпустить из плоти их живой.

Глухая Ненависть, ты злую пьешь отраву,
И чем ты больше пьешь, тем жажда всё сильней
И множится стократ, как Гидры Лернской главы.

Но пьяницам вино целение скорбей

Приносит и всегда забыться сном давало,

А ты и во хмелю ни разу сна не знала.

НАДТРЕСНУТЫЙ КОЛОКОЛ

Я с грустью светлою внимаю по ночам,
Зимою, пред огнем дымящимся и сонным,
Давно умолкнувшим, забытым голосам,
Что вторят реющим в тумане перезвонам.

Блажен тот колокол, чья грудь еще сильна
И чей всё слышен звон молитвенный над нами,
Когда он кличет нас среди земного сна,
Как старый часовой на страже пред шатрами.

Душа надтреснута моя. Напрасно ей
Призывом хочется наполнить мрак ночей,
И часто глас ее, звуча тоской глухою,

Хрипит, как раненый, забытый после

боя,

Среди кровавых луж, под грудой мертвецов,

Когда он смерти ждет во тьме ночных часов!

СПЛИН
(«Февраль нахмуренный на целый город злится...»)

Февраль нахмуренный на целый город злится
И льет из урн своих холодный ток дождей
На бледных жителей кладбищ немых столицы
И смерть — на мрачные дома живых людей.

Худой, облезлый кот то тут, то там ложится,
Покоя не найдя для ноющих костей.
Поэта старого душа, о черепицы
Цепляясь, жалобно зовет глухих друзей.

Печально колокол гудит; шипят поленья;
Охрипший бой часов звучит тоской и ленью.

Меж тем, в колоде карт, наследьи роковом

Старухи, скошенной водянкою в то лето,

Прижалась дама пик к червонному валету

И с грустью говорит о счастьи их былом.

СПЛИН
(«Не больше б помнил я, проживши ряд веков...»)

Не больше б помнил я, проживши ряд веков.

Стол старый, где лежат средь памятных листков

Стихи, любовные записки и тетради

И в сложенных счетах волос густые пряди,

Скрывает меньше тайн, чем мозг угрюмый мой.

Как пирамида он иль склеп всегда немой,

Где больше мертвецов лежит, чем в общей яме.

Я — кладбище, навек забытое лучами

Луны, и черви в нем голодные ползут

И трупы мне родных покойников грызут.

Альков я, полный роз сухих, где дни сви-

даний

Живут еще в шелках старинных одеяний,

Где лики грустные портретов на стене

Вдыхают мед духов, разлитый в тишине.

— Что дольше может быть тех дней, текущих вяло,

Когда под снежными сугробами устало

Скучает дух, ничем уже не увлечен,

И вечным кажется его тяжелый сон.

Отныне стало ты, о вещество живое,

Гранитом, мучимым неясною тоскою,

Заснувшим в глубине пустыни гробовой.

— Сфинкс древний, суетной незнаемый толпой,

Не нужный никому, чья грудь, застыв печально,

Поет лишь при лучах косых зари прощальной.

СПЛИН
(«Похож на короля дождливой я страны…»)

Похож на короля дождливой я страны.

Ему богатства, власть и молодость даны,

Но душу раннее бессилие смущает.

Прогнав толпу льстецов придворных, он скучает.

Ничто не веселить его, ни своры псов,

Ни гибнущий народ пред окнами дворцов.

Любимый шут, смешить умевший господина,

Не может уж стереть со лба его морщины.

Уж ложе, всё в гербах, им в гроб превращено;

И фрейлины, любить готовые равно

Владыку всякого, нескромностью наряда

Не в силах распалить его тупого взгляда.

Напрасно врач его все знанья приложил;

Он яда смертного не мог извлечь из жил,

И даже теплою, кровавой Римской ванной,

Которой старики огонь вернуть желанный

Стремятся, не согрел он трупа, где течет

Не кровь, а мутная струя Летейских вод.

СПЛИН
(«Когда нависшие, как крышка, давят тучи...»)

Когда нависшие, как крышка, давят тучи
На душу, ставшую добычею скорбей,
И скучный небосвод, сквозь саван свой линючий,
На нас льет черный день, печальнее ночей;

Когда становится земля сырой темницей,
Где, словно рой мышей летучих, вдоль стены
Желанья кружатся пугливой вереницей
И биться крыльями о свод осуждены;

Когда дождь падает широкими струями,
В которых видится решетка нам тюрьмы,
И гнусных пауков, нам липкими сетя-

ми

Мозг оплетающих, прогнать не в силах мы, —

Колокола тогда внезапно, в исступленьи,

Возводят к небесам невыносимый вой,

Как сонм блуждающих, бездомных привидений,

Упорно стонущих над нашей головой;

— И похоронные проходят шагом дроги

Немою чередой в уме моем; призыв

Надежды смолк, и Страх царит в земном остроге,

На черепе моем флаг черный водрузив.

НАВАЖДЕНИЕ

Леса, вы мне страшны, как темные соборы;
Ваш голос как орган; в истерзанных сердцах
Находят отклики глухие ваши хоры,
И та же в них живет скорбь вечная и страх.

Будь проклят, Океан! Твой ропот и волненье
В уме отражены, и горький смех людей
Плененных, где звучат и стоны и хуленье,
Мне в смехе слышится мучительном морей.

О, как бы, Ночь, любил тебя я, без сиянья
Звезд, шепчущих нам речь знакомую огней.
Ведь я ищу пустынь, и бездны, и теней;

Но темнота сама полна воспоминаний,

И всё рисует глаз на черном полотне

Туманный сонм существ, когда-то близких мне.

ЖАЖДА НЕБЫТИЯ

Ум мрачный, много раз захваченный борьбою,

Надежда уж твои не правит удила

И бросила тебя. Пора твоя прошла.

Конь старый, без стыда ложись перед судьбою.

О сердце, покорись; спи с леностью тупою.

Усталый, бедный ум; вся жизнь уж протекла,

Нет вкуса у любви, и пресен запах боя;

Прощайте, меди песнь и нежный вздох гобоя;

Мечта, не соблазняй угрюмого чела.

Весна прелестная напрасно расцвела.

И время с каждою минутой роковою

Хоронит ум, как снег застывшие тела.

Гляжу на целый мир я с птичьего крыла

И скрыться не хочу под крышею былою.
Лавина, хочешь ли увлечь меня с собою?

АЛХИМИЯ СТРАДАНИЯ

Один в тебя влагает жар,
Другой влагает грусть, Природа.
Что одному — могилы своды,
Другому — жизни светлый дар.

Гермес неведомый, навеяв
Навеки страх, мне помогал.
И я другим Мидасом стал,
Печальнейшим из чародеев.

Преображаю злато в медь
И небо в ад. Я должен зреть,
Как в тучах, словно в плащанице,

Труп осужден родимый тлеть.
И там, где Млечный Путь струится,
Я строю мрачные гробницы.

СОЧУВСТВЕННЫЙ УЖАС

От выси мертвенной и странной,
Как дней твоих угрюмый бред,
Катя мысли в ум туманный
Нисходят? Грешник, дай ответ!

— Стремлюсь я жадно, неустанно,
Неверным призракам вослед.
Но, как Овидий, я не стану
Скорбеть о рае юных лет.

В борьбе небесных очертаний
Гордыня дум отражена.
Туч надмогильных пелена

Грустна, как саваны мечтаний.
И небеса горят в огне
Геенны, духом близкой мне.

САМОИСТЯЗАТЕЛЬ

Тебя ударю я спокойно
И равнодушно, как мясник.
И слез живительный родник
Я вызову в пустыне знойной!

Немой поток соленых вод
Твои излить заставлю вежды.
Мое желанье, в час надежды,
На влаге горькой уплывет,

Как парусник зарей туманной,
И сердце сладко опьянят
Рыдания и прозвучат
Веселым боем барабана.

Ведь я фальшивый резкий звук
В громах симфонии священной.
Я внял Иронии презренной
И стал рабом нечистых рук.

Она меня лишила веры.
Всю кровь яд черный напитал.

Я — мгла зловещая зеркал,
В которых виден лик Мегеры!

Я — рана красная и нож;
Пощечин злых удар и щеки;
Распятый раб и крест жестокий;
Я и палач, и жертва тож.

Я сердца моего унылый
Вампир — один из ряда тех,
Кому назначен вечный смех
Взамен улыбки легкокрылой!

НЕИЗМЕНИМОЕ

I

Предвечный Образ, павший с неба
И поглощенный роковой
Свинцово-мутною волной
Во тьме беззвездного Эреба;

Неосторожный Ангел, в путь
Пустившийся в морях запретных,
На дне кошмаров беспросветных,
Где он рискует утонуть,

Когда (смертельное томленье!)
Его влечет водоворот,
Что песнь безумную поет
И кружится волчком сквозь тени;

Несчастный пленник темных чар,
В его попытках безнадежных
Бежать от гнета стен острожных
И всех ему грозящих кар;

Дрожащий грешник, без лампады
Сходящий вечною тропой
Над бездной мрачной и сырой,
По лестницам неверным Ада,

Где звери мерзкие видны,
Чьи фосфорические очи
Усугубляют сумрак ночи
И жуть могильной тишины;

Корабль беспомощный, в хрустальной
Ловушке полюса, найти
Вотще стремящийся пути
На волю из тюрьмы печальной;

— Эмблемы горьких наших мук,
Символ судьбы неизменимой
И знак, что Дьявол, нам незримо,
Не покладает властных рук!

II

Порою сердце отражает
В себе самом свой лик ночной!
Колодец Истины немой,

Где, как маяк, на дне сияет

Звезда, насмешливо-светла,
Чар сатанинских излученье,
Единый дар и облегченье,
— Сознанье собственного Зла!

ЧАСЫ

Часы! зловещий бог, бесстрастный и жестокий,
Чей перст нам говорит с угрозой: Близок день!
Тебя охватит страх, и сердце, как мишень,
Пронзит дрожащая стрела тоски глубокой.

Младое счастие сокроется навек,
Как легкий рой сильфид за сень кулисы мчится.
Мгновенье каждое лишит тебя частицы
Сужденных каждому, но неповторных нег.

Три тысячи шестьсот раз в час Секунда строго
Прошепчет голосом звенящим: Не забудь!
И каждый новый Миг гласит: уж не

вернуть

Меня, и сил твоих я высосал немного!

Remember! Souviens-toi! Ты помни! (Ту же речь

Веду на языках я разных глоткой медной.)

Беспечный человек, цени ты дар заветный

Минут и золото спеши из них извлечь.

Ты помни, помни ты, что Смерть игрок упорный,

И ей всегда везет в игре! Таков закон.

Уходит день и ночь восходит, близок сон.

Песка почти уж нет, раскрыт зев бездны черной.

Пробить уж должен час, когда всесильный Рок,

Когда мечты и честь, забытые так скоро,

Когда Раскаянье (последняя опора!) —

Все скажут: «Старый трус, умри! Исполнен срок!»

МОЛИТВА ЯЗЫЧНИКА

Не замедляй огня мучений.
Мне сердце мертвое согрей.
О страсть, терзанье душ, ты пене,
Небесная, внемли моей.

Богиня, утра воздух алый,
Свет в подземелиях моих,
Услышь мольбу души усталой,
Тебе поющей медный стих!

Пребудь царицей неизменной,
О страсть, приняв черты сирены
Из нежной кожи и шелков.

Иль мне налей тяжелых снов
В вино таинственно хмельное,
Страсть, привидение живое.

КРЫШКА

Куда б он ни поплыл по волнам океана,
Под солнцем пламенным иль ледяным лучом,
Христа ль служитель он, Цитеры ль гость желанный,
Будь он бродягою иль будь он богачом.

Скитался вечно ль он, иль кров обрел он рано,
Ленив ли мозг его, иль мысли бьют ключом,
Повсюду человек стоит пред тайной странной
И с дрожью смотрит вверх, как жертва под мечом.

Там, в выси, Небеса! Слепого склепа стены,
Лучистый потолок в театре жизни пленной,
Где каждый скоморох в крови своей скользит;

Гроза распутника, аскету — двери рая;
О крышка черная котла, где, погибая,
Всё Человечество ничтожное кипит!

НЕПРЕДВИДЕННОЕ

У смертного одра отца, при ночнике,
Задумался скупец под стон и хрип недужный:
«У нас есть, кажется, запас на чердаке
Досок, уж ни на что не нужных».

Воркуя, говорит прелестница: «Полна
Душа любви, и Бог мне власть дал над сердцами».
— Душа! Душа ее насквозь прокопчена
Неугасимыми кострами!

Газетчик, мня себя лучом средь темноты,
Сбил с толку простеца и требует ответа:
«Скажи мне, где же тот создатель Красоты,
Защитник где, тобой воспетый?»

Распутник мне один встречался много раз,

Который, день и ночь зевая и тоскуя,

Твердит в мечтах своих бессильных: «Через час

Хочу начать я жизнь другую».

Часы меж тем гласят: «Созрел для вечных кар

Уж грешник. Ни к чему уж все предупрежденья.

Он слеп и глух и слаб — еще один удар,

И будет Суд и осужденье».

И Некто, всех смутив, является потом

С насмешкой гордою, им говоря: «Из чаши

Уже достаточно я вас поил вином

Во время черной Мессы вашей.

Вы в сердце все мое признали божество.

Лобзали вы тайком мое нагое тело.

Узнайте ж Сатану, и гнусный смех его,

И власть, которой нет предела.

Иль верить вы могли, двуличные рабы,

Что будет так легко владыку провести вам

И можно вырвать вам два дара у судьбы —

Спасенным быть и быть счастливым?

Охотник опытный давно добычи ждал,

И дичь должна теперь ему достаться в руки.

Я унесу вас всех к себе сквозь толщу скал,

Товарищи туманной муки;

Сквозь толщу унесу вас глины и камней,

Сквозь кучу вашего дымящегося пепла

К себе я в свой дворец, могил земных темней.

Давно надежда в нем ослепла;

Ведь он был выстроен из общих вам грехов,

И слава в нем моя, и гордость, и мученье».

— Труба Архангела с надзвездных берегов

Меж тем поет о воскресеньи

Всех тех, кто говорит: «Благословен
Твой бич,
Господь! Да будет боль, Отец, благо-
словенна!
Всей мудрости Твоей не можем мы по-
стичь,
Но знаем, горе — дар бесценный».

И сладостью такой исполнен трубный
глас
В святые вечера небесных жатв урочных,
Что песнь его струей пьянящею влилась
В сердца страдальцев беспорочных.

ПОЛНОЧНАЯ ИСПОВЕДЬ

Часы, пробив двенадцать раз,
С насмешкою неумолимой
Хотят узнать, как провели мы
День, убегающий от нас.
Сегодня пятница совпала
С тринадцатым — срок роковой,
И долг забыли мы святой,
Хоть совесть нас и упрекала.

Мы надругались над Христом
И божеством его бесспорным,
И, приживальщиком покорным
У Креза сидя за столом,
Чтоб угодить тупому зверю,
Слуге земному Царства Тьмы,
Всему чужому льстили мы,
Всё оскорбив, во что мы верим.

Мы пред неправедным судом
Терзали жертв, палач наемный,

Склонясь пред Глупостью огромной
И пред ее железным лбом.
Мы целовали в упоеньи
Нелепый идол Вещества,
И наши вещие слова
Воспели мутный свет гниенья.

И наконец, чтоб утопить
В бреду рассудок уж нетвердый,
Мы, Лиры жрец державно гордый,
Чья слава — всем провозгласить
Потусторонних грез усладу,
Питьем забылись и едой.
— Укроемся во тьме ночной,
Скорее погасив лампаду!

ПЕЧАЛЬНЫЙ МАДРИГАЛ

Ты от меня не жди укора.
Будь ясно-грустною. Слеза
Дает живую прелесть взору,
Как реки — сонному простору,
И оживляет сад гроза.

Люблю тебя, когда твой стонет
Дух и чело зимы бледней,
Когда во мраке сердце тонет
И над тобою тучи гонит
Жестокий ветер прошлых дней.

Люблю тебя, когда ты слезы
Льешь тихо, теплые, как кровь,
И не могу навеять грезы,
Но горя тяжкого угрозы,
Как хрип предсмертный, слышу вновь.

Впиваю (дивное слиянье!
Глубокий и прелестный зов!)
Груди измученной рыданья

И верю, в ней горит сиянье
Тобой пролитых жемчугов.

Я знаю, грудь твоя — кладбище
Былых, загубленных страстей.
В них для огней жестоких пища,
И сердце — тайное жилище
Надменных, пламенных затей.

Но, друг, пока твои мечтанья
Всех адских мук не отразят
И в тяжком сне, средь содроганий
И гневных, гибельных желаний,
Взлюбивши порох и булат,

Дверь раскрывая осторожно,
Несчастье чувствуя везде,
Дрожа под зовы тьмы острожной,
Ты близость казни непреложной
Не испытуешь на себе,

Не сможешь мне, раба царица,
Любовью робкою полна,
Сказать, когда душа стремится
Вздохнуть и жуткий мрак струится:

«Тебе, о царь мой, я равна!»

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ

Засела желтая Змея
На троне, как владыка некий,
В смущенном сердца человека.
Он ей: «Хочу». Она: «Нельзя».

Взор погружай в немые взгляды
Русалки, нимфы иль дриады.
Зуб скажет: «Долг свой вспомяни».

Плоди детей, сажай растенья,
Пиши стихи, шлифуй каменья.
А зуб: «Твои неверны дни».

Среди надежд и вожделений
Пусть человек жизнь проведет,
Но каждый миг его гнетет
Ехидны злой предупрежденье.

МАЛАБАРКЕ

Нога твоя тонка, бока полны, и смело

С сестрою северной поспорить ты б сумела.

Мечты художника влечешь красой своей.

Глаза глубокие груди твоей черней.

В краю лазоревом твоем твой труд единый

Искусно разжигать кальян для господина,

Елеем и водой кувшины наполнять,

Докучных комаров от ложа прогонять

И, только поутру вновь запоют платаны,

На рынке покупать кокосы и бананы.

Весь день мелькает след ступни твоей босой;

Бежишь и стих поешь старинный и простой;

Когда же спустится закат багряно-

родный,

Циновка свежая даст отдых беззаботный

Тебе, и райских птиц сны легкие полны

И вечно, как и ты, цветущи и ясны.

Счастливое дитя, к чему твое желанье

Увидеть родину мою, тот край страданья,

И, жизнь доверивши заботам моряков,

Проститься навсегда с листвой твоих лесов.

Полураздетая под хрупкими шелками,

Под градом вся дрожа иль зимними снегами,

Оплакала бы ты досуг страны родной,

Когда, бока стеснив безжалостной броней,

Ты стала б добывать еду средь грязи вязкой

И продавать за хлеб дурманящие ласки,

Задумчиво следя в туманах городских

За смутным призраком пальм сказоч-

ных своих.

ГОЛОС

Стояла колыбель в тени разноязычной
Книг многих, в чьих рядах былая мудрость вся,
И пепел Греции, и Рима прах, привычно
Смешалась. С фолиант тогда был ростом я.
Звучали надо мной два голоса незримо.
Один твердил: «Земля заманчивый пирог.
Коль хочешь, голод дам тебе неутолимый,
Чтоб новые куски ты вечно резать мог».
Другой шептал: «Приди, приди блуждать мечтами
За грань возможного, за грань земных краев».
И голос мне тот пел, как ветер над волнами,
Как призрачный призыв с безвестных

берегов,

Нам слух ласкающий, но всё же жутко странный.

Ответил я тебе: «Да, Голос!» И с тех пор

Я обречен на боль неизлечимой раны.

Прозрачен стал для глаз провидящих убор

Слепого бытия; в разверстых взору безднах

Мне явственно видны опасные миры,

И, жертвою даров моих став бесполезных,

Змей злобных за собой влачу я с той поры.

Люблю пустыню я, как древние пророки;

Безлюдный моря родными стали мне;

Средь пиршеств плачу я, смеюсь ударам Рока;

Вкус меда чувствую в горчайшем я вине.

Обманом кажется мне часто мир явлений,

И в ямы падаю, хоть звезды мне видны.
Но Голос говорит: «Храни свои виденья
И знай — сны мудрецам такие не даны!»

ГИМН

Мой друг любимый и прекрасный,
Проливший в сердце яркий свет,
Кумир бессмертный и бесстрастный,
Тебе бессмертный мой привет!

Как воздух, солью напоенный,
В моей ты жизни разлита.
В моей душе неутоленной
Восходит вечная мечта.

Цветов засушенных дыханье,
Наш освежавшее альков,
Кадил забытых догоранье
Сквозь сумрачный ночной покров,

Как смысл любви неистощимой
Правдиво выразить бы мне?
Ты, мускуса зерно, незримо
Лежишь у вечности на дне!

Друг благодатный и прекрасный,
Целитель недугов и бед,

Кумир бессмертный и бесстрастный,
Тебе бессмертный мой привет!

МЯТЕЖНИК

Бросается с небес Архангел разъяренный
Орлом на грешника и, гневною десной
Тряся за волосы, твердит: «Прими законы
Мои! Я так хочу. Ведь я Хранитель твой.

Узнай — не потерплю твоих противоречий;
Прощай врагам, дели болезнь и нищету,
Чтоб из любви своей мог разостлать при встрече
Ковер торжественный ты под ноги Христу.

Познай любовь! Чтоб пыл не истощить сердечный,
Согрей восторг в огне Господней славы вечной;
То Неги истинной нетленный, дивный цвет!»

Так Ангел говорит, любя и поучая
И мощным кулаком отступника терзая,
Но грешник терпит всё и отвечает: «Нет!»

ГЛАЗА БЕРТЫ

Вам можно презирать чудеснейшие очи,

Глаза моей сестры прекрасные; рекой

Струите вы мне сны и сладостный покой;

Прекрасные глаза, пролейте ласки Ночи!

Глаза моей сестры глубокие, вы мне

Напоминаете те сказочные гроты,

Где за преградами, средь мертвенной дремоты,

Блестят безвестные сокровища во тьме.

Глаза моей сестры бездонны и безбрежны,

Как ты, немая Ночь, и светятся, как ты.

Огни их — чистые и страстные мечты,

Горящие в душе, то пламенно, то неж-

но.

ВОДОМЕТ

Подруга, взор померк твой нежный.
Не раскрывай усталых век
И спи, раскинувшись небрежно,
Как в сладкий миг внезапных нег.
Среди двора фонтан болтливый
Поет мне тихо о любви
Немолчным лепетом, и живы
Восторги вечера в крови.

Сноп, венчанный цветами
Иной страны,
Пронизанный лучами
Златой луны,
Вновь падает слезами
На зыбь волны.

Так и душа твоя родная,
Огнем страстей опалена,
Взлетит к волшебным далям рая,
Неустрашима и вольна.

Потом волною утомленной
Она печально потечет
И по невидимому склону
Ко мне в глубь сердца снизойдет.

Сноп, венчанный цветами
Иной страны,
Пронизанный лучами
Златой луны,
Вновь падает слезами
На зыбь волны.

Дай наклониться мне над лоном
Твоим, о мой цветок ночной,
Внимая жалобам и стонам
Воды в бассейне предо мной.
Луна, покровы ночи темной,
Листвы, дрожащая стена,
Журчанье, в вашей грусти томной
Моя любовь отражена.

Сноп, венчанный цветами
Иной страны,
Пронизанный лучами

Златой луны,
Вновь падает слезами
На зыбь волны.

ВЫКУП

Чтоб выкуп уплатить, дано
Два тучных поля человеку.
Сохою разума от века
Ему пахать их суждено.

Чтоб возрастить одну хоть розу
Иль два-три колоса собрать,
Он должен вечно орошать
Их потом, тягостным как слезы.

Любовь одно из тех полей.
Другое — Творчество. В день судный,
Чтоб у Судьи за подвиг трудный
Просить он воли мог смелей,

Богатых жатв запас осенний
Сберечь он должен и цветы
Многообразной красоты,
Достойной ангельских хвалений.

ДАЛЕКО ОТСЮДА

Там хижина стоит святая,
Где эта дева молодая,
Гостей спокойно ожидая,

Стан овевает смуглый свой
И, наклонившись головой,
Внимает плач воды живой:

Там комната, мечтам родная.
— Вода и ветер за стеной
Поют, свой стон и песнь сливая
И резвое дитя лаская.

Она умелою рукой
Умащена и, страсть рождая,
Елеем дышит и смолой.
— Цветы льют где-то мед густой.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАКАТ

Как Солнце нас манит, когда зарею ранней
Оно нам громкий шлет и свежий свой привет!
— Блажен, кому дано с любовью встретить свет
Заката, славного, как гордые мечтанья!

Я помню!.. Всё — цветок, и борозда, и ключ —
Под глазом огненным, как сердце, трепетало...
— Уж поздно, побежим скорей стезею алой,
Чтоб уловить еще косой, последний луч!

Вотще преследую ушедшего я Бога;
Ночь необорная вошла в его чертоги,
Сырая, черная и савана мертвей;

Могильный смрад плывет в сгущающей-
ся тени,
И трогаю ногой, дрожа от омерзенья,
Жаб непредвиденных и скользких я чер-
вей!

БЕЗДНА

Паскаль всю жизнь свою зрел бездну пред собой.
— Увы! Она во всем — в делах, в мечтах, в стремленьи,
В словах! И чувствовал Испуга дуновенье
Я тоже над своей дрожавшей головой.

Вверху, внизу, везде могильный берег, тени,
Молчание, простор манящий и глухой...
На тьме моих ночей искусной Бог рукой
Рисует смутные, томящие виденья.

Как ямы гибельной без света и без дна,
Ведущей в жуткую страну, боюсь я сна.
Я в окнах вижу всех провалы мироздань,
И дух мой, на краю той пропасти стоя,
Завидует слепым дарам небытия.

— Ах! Быть всегда средь Чисел, вне мысли, вне сознанья!

ЖАЛОБЫ НОВОГО ИКАРА

Те, кто продажных дев любили,
Счастливы, сыты и вольны.
А я — я обнял только сны
И руки опустил бессильно.

Горит на дне моих ночей
Огонь светил, мечтой зажженных,
Но жив в зеницах опаленных
Лишь призрак солнечных лучей.

Напрасно я хотел простора
Найти средину и предел;
Взмах крыльев смелых ослабел
В сверканьи огненного взора.

Я страстью к Красоте сожжен,
Но не позволит мне богиня
Навеки имя дать пучине,
В которой буду погребен.

ЗАДУМЧИВОСТЬ

Будь тихой, Скорбь моя, и кроткой, заклинаю!

Прихода Вечера просила ты; вот он.

Над шумным городом нависла мгла густая,

Одним неся ярмо, другим даруя сон.

Пока на грешный пир бежит толпа тупая

И под бичом Страстей свой изливает стон,

На рабском празднике раскаянье рождая,

Дай руку, Скорбь моя, покинем мы притон.

Смотри, склоняются покойные Годины

С небесной выси к нам, надев убор старинный;

С морского дна Печаль прозрачная встает;

Ложится Солнце спать на западе туманном;

И длинный саван свой с востока Ночь влечет;

Внемли, мой друг, внемли шагам ее желанным.

Парижские картины

ПЕЙЗАЖ

Чтоб в тишине слагать невинные эклоги,
Поближе к небу спать хочу, как астрологи,
И, колоколен друг, в тиши святых часов
Внимать могучий гимн их медных голосов.
Я с выси чердака, лицо склонив на руки,
Услышу мастерских немолкнущие звуки,
Мне будет виден труб и колоколен лес
И вечная лазурь безбережных небес.

Отрадно сквозь туман следить за восхожденьем
Светил на небеса и первым появленьем
Ламп в окнах, наблюдать дым, вьющийся струей,
И чары месяца над бледною землей.
Увижу я весну, дни летние и осень;

Когда ж придут снега и сон зимы морозной,

Закрою ставни, дверь запру и в темноте

Отдамся всей душой я творческой мечте.

Там стану грезить я о далях синеватых,

Фонтанах, плачущих средь лавров и гранатов,

Объятьях, соловьях, поющих без конца,

И всем, что радует наивные сердца.

Мятеж в окно мое стучать напрасно станет,

И лоб мой над столом склоняться не устанет;

Ведь будет мне тогда власть дивная дана —

На зов мой расцветет нездешняя весна,

Из сердца извлеку лучи, и вдохновенье

Дум жгучих мне вернет зефира дуновенье.

СОЛНЦЕ

Вдоль старой улицы, где дремлют одиноко
Приюты жалкие печального порока,
Когда льет солнце луч, пронзительный как нож,
На город и поля, на крыши и на рожь,
Один я предаюсь безумным упражненьям,
За рифмой бегая повсюду с вожделеньем,
В исканьях нужных слов бредя по мостовой
И находя подчас стих звонкий и живой.

Отец кормилец тот — враг бледного мороза,
И к жизни он в полях зовет червей и розы;
Снимает он легко ярмо земных забот
И в ульи, как в умы, вливает свежий мед;

Дает он молодость душе калек печальных,

Им бодрость возвратив их лет первоначальных,

И жатвам он велит пленительным расти

На ниве сердца, вновь готового цвести.

Когда он, как поэт, является средь града,

Последним он вещам несет свои награды

И входит, как король, без шума и гонцов,

В палаты всех больниц и залы всех дворцов.

РЫЖЕЙ НИЩЕНКЕ

Пламя кос твоих слилось
С белой кожею, и сквозь
Платье светит беднота
И красота.

Мрамор плеч твоих худых,
Весь в веснушках золотых,
Юной прелестью маня,
Пленил меня.

Твой уверен легкий шаг,
И тела принцесс не так
Были грацией полны
В дни старины.

Если б волей добрых фей,
Вместо ветоши твоей,
Падал шелковый наряд
Тебе до пят;

И, для взора знатока,
Вместо рваного чулка

На ноге твоей сверкал
Златой кинжал;

Если б не держался лиф,
Соблазнительно раскрыв
Кожу, молока белей,
Твоих грудей;

Если б всё же ты тогда
Не сдавалась без труда
Ласкам смельчака, борясь
С ним и смеясь;

Нити светлых жемчугов,
Строфы звучные стихов,
Приняла бы ты из рук
Покорных слуг;

Племя стало б рифмачей
Посвящать плоды ночей
И ловить исподтишка
Блеск башмачка.

Паж в расцвете юных лет,
И вельможа, и поэт,
Все бы стали, о поверь,

Стучаться в дверь.

Насчитал бы твой альков
Ласк не больше, чем гербов,
Власти покорив твоей
Род королей!

— Но к чему мои мечты?
Ведь с утра не ела ты
И всё смотришь, кто бы мог
Подать кусок;

Ты любуешься тайком
На стекляшки за окном
(Не могу тебе — прости! —
Их поднести);

Так ступай же без других
Украшений дорогих,
Кроме юной наготы
И красоты!

ЛЕБЕДЬ

I

Где, Андромаха, вы? — Зардевшийся от крови
Скамандр, в чьем зеркале была отражена
Скорбь ваших горьких мук и доли вашей вдовьей,
И зашумевшая от слез его волна

На память мне пришли, печальная царица,
Когда я проходил по площади Дворца.
— Парижа старого уж нет (лицо столицы
Меняется, увы, быстрее, чем сердца!).

Воскресши вновь в уме моем, зашелестели
Палатки, хлам блестел за окнами лачуг,
Лес незаконченных колонн и капите-

лей,

Заросших плесенью, покрыл широкий луг.

Зверинец, помню, там свои расставил клетки,

И в час, когда, дрожа под ранней синевой,

Труд просыпается и тучи пыли едкой

Встают под метлами вдоль мертвой мостовой,

Я видел лебедя, бежавшего из плена.

Он лапою своей сухие плиты тер,

И по земле влачил он грудь, белее пены.

В канаве высохшей, раскрывши клюв, простер

Он крылья царские над пыльными камнями

И словно говорил, об озере родном

Скорбя: «Когда же, дождь, польешься ты ручьями

На землю скудную; когда же грянешь, гром?»

И, символ наших душ, несчастный тот порою
К немым, насмешливым, жестоким небесам
Тянулся жадною, дрожащей головою,
Как будто посылал упреки он богам.

II

Париж меняется, но всё в моей печали
Осталось! Новые дворцы, леса, гранит,
Кварталы старые меня околдовали,
И память о былом дух давит и щемит.

Пред Лувром я стою в раздумии, и снова
Я вспомнил лебедя в тот ранний, горький час,
Как все изгнанники, святого и смешного
И вечною тоской томимого; и вас,

Вдова великого супруга, Андромаха,
Рабыней ставшая надменного царя
Подруга Гектора, вдали родного праха

Жить осужденная, другим любовь даря.

Мне негритянки жаль, беспомощно бредущей

По грязи города, в просторах площадей

Ища высоких пальм страны своей цветущей

За мутною стеной туманов и дождей.

Жаль всех, к кому любовь уже не возвратится,

Кто ядом напоен обманутой мечты

И скорбь сосет, как мать иль добрую волчицу;

Жаль немощных сирот, увядших, как цветы.

Так, в сумрачном лесу, где дух живет в изгнаньи,

Воспоминание трубит победно в рог.

О тех я думаю, кому грозят страданья,

И горемыках всех, кого замучил Рок.

СЕМЬ СТАРИКОВ

Столица шумная, волшебный, странный город,
Где призраки и днем снуют средь суеты!
Обманы тайн немых и снов в колоссе гордом,
Как соки жил его, повсюду разлиты.

Осенним утром раз, когда дома, высоко
Над грустной улицей серея сквозь туман,
Подобно берегам бурливого потока,
Немели, и, давя на сердце как дурман,

Простор был весь залит мглой желтою и мутной,
Бродил я, совести заслышав поздний зов
И душу, как герой, ведя на подвиг трудный,
Предместьем, тяжело дрожавшим от

возов.

Старик в изорванном и грязном одеяньи,
Напоминавшем цвет небес в тот хмурый час,
К кому бы потекли обильно подаянья,
Не будь зловещих искр его угрюмых глаз,

Вдруг появился. Был зрачок его змеиным
Напитан ядом; взор мороза был острей;
Седая борода торчала длинным клином,
Пугая жесткою щетиною своей.

Он был не сгорбленный, но сломанный, и угол
Прямой образовал ногами и спиной,
Клюка в его руке, иссушенной недугом,
Дрожала, и плелся он поступью хромой,

Больной, одной ноги лишившейся ско-

тины.

По снегу грязному он шел, стуча клюкой

Как будто о гроба, душе уж ни единой

Не нужен и всему враждебный и чужой.

За ним шел вслед другой, ничем не отличимый

От первого. Судьба из Ада извлекла

Столетних близнецов, прошедших молча мимо

Меня, и та же цель те призраки звала.

Имел ли дело я с враждебною затеей

Иль случаем слепым, орудьем злых богов?

Я насчитал подряд, от страха холодея,

Семь одинаковых и жутких стариков.

Поймите вы, кому смешно мое волненье,

Чья не трепещет грудь с моею заодно,

Что тем чудовищам, при всем их одряхленьи,

Казалось мерзкое бессмертие дано.

Хватило ли бы сил моих и на восьмого
Из этих двойников, предвестников беды,
Подобно фениксам рождавшихся всё снова?
— Но я свой взор отвел от адской череды.

Как пьяный, в чьих глазах двоится всё, в смущенья
Вернулся я к себе, дверь запер, чтоб не дать
Тем призракам пройти за мной, и смысл виденья
Нелепого хотел напрасно разгадать.

Вотще стремилась мысль моя найти опору:
Играла буря мной и волею моей,
Как судном без снастей играет средь простора
Волна неведомых, чудовищных морей!

СТАРУШКИ

I

Бредя по улицам кривым столицы старой,
Где самый ужас полн глухого колдовства,
Подстерегаю я, покорен странным чарам,
Немые, ветхие, родные существа.

Уроды жалкие красавицами были
Иль героинями. — Нельзя нам тех теней
Горбатых не любить. Душа в них давней былью
Полна. — Идут они, закутавшись плотней,

Гонимые бичом осеннего ненастья;
Томит их уличный стремительный поток,
И жмут они к груди, как дар былого

счастья,

Мешочек бисерный иль вышитый платок.

Бегут они, спеша походкою нескладной;

Ползут, как раненый смертельно зверь лесной;

Иль пляшут невпопад, как будто беспощадный

Бес куклы дергает упрямою рукой.

Но острые глаза и ясные Бог дал им;

То ямы, где вода во мраке вечном спит;

Глаза такие же он дал и детям малым,

Смеющимся всему, что ярко заблестит.

— Заметили ли вы, что у старух нередко

Как детский гробик мал бывает вечный дом?

Смерть, мудрый гробовщик, пленительный и меткий

Являет символ нам в подобии таком.

Когда встречаю я такие привиденья
На фоне городской кишащей суеты,
Мне кажется всегда: еще одно мгновенье,
И ждет их колыбель за гранью темноты.

Иль, перебрав в уме ряд образов, я часто
При виде тех существ, где всё пошло вразброд,
Гадаю, сколько раз менять был должен мастер
Вид ящиков, куда тела он все кладет.

— Глаза те кладези, где спят во мраке слезы;
Горнила, полные остывшею рудой...
К таинственным глазам влекутся вечно грезы
Всех тех, кто вскормлен был страданьем и бедой!

II

Весталка, в давнего влюбленная Фрас-

кати;

Иль жрица Талии, чья слава умерла;

Или прелестница, которая когда-то

Под сенью Тиволи сияла и цвела.

Я всеми опьянен! Но средь существ тех хилых

Одни из горьких бед мед сладкий извлекли,

Сказавши Подвигу, дававшему им силы:

«Крылатый конь, наш дух восхити от земли!»

Одна от родины обиды претерпела,

Другая мужнею измучена рукой,

А в третью сын вонзил безжалостные стрелы,

И слезы всех текли обильною рекой!

III

Как много я встречал старушек безымянных!

Одна меж них в тот час, когда, всю кровь свою

Пролив из ран, горит закат в лучах багряных,
Садилась иногда поодаль на скамью,

Внимая музыке воинственной и медной,
Чьи волны в городских просторах разлиты
В златые вечера, когда тот глас победный
Рождает вновь в сердцах безбрежные мечты.

Сидела там она, торжественно прямая,
Впивая жадно звук труб громких и литавр;
Глаза, как у орла, смотрели не мигая;
На мраморном челе вился как будто лавр.

IV

Так вы проходите по улицам столицы,
Сквозь шумную толпу, без стонов и без слез,

Святые, матери скорбящие, блудницы,
Чье имя в старину всем слышать довелось.

Вас, бывших красотой иль славой поколенья,
Никто не узнает! — Над вашей сединой
Смеется пьяного прохожего глумленье;
За вами по пятам бежит ребенок злой.

Стыдясь самих себя, боясь дневного света,
Вы бродите вдоль стен — жестокая судьба!
Не шлет уже никто вам прежнего привета,
Обломки жалкие, кого ждут лишь гроба!

Но я, я издали слежу с тоской за вами
И шаг ваш стерегу неверный в этот час,
Как будто я отец родимый ваш, и снами
Я тайными пленен, неведомо для вас.

Я вижу ваш расцвет и страсти зарожденье;

Переживаю вновь утраченные дни;

Пьянит меня вино всех ваших прегрешений,

И ваших подвигов горят в душе огни!

Развалины! Семья! Умы родные мне вы!

Торжественно звучат прощальные слова...

Где завтра будете, дряхлеющие Евы,

Над кем висит уж меч разящий Божества?

СЛЕПЦЫ

Гляди, душа моя, воистину жалки
Слепые чучела с их робостью смешною
И, как лунатики, полны тоской ночною,
Вперив Бог весть куда погасшие зрачки, —

Глаза их, где огня небесного не стало,
К лазури подняты, как будто им вдали
Свет виден; никогда, в тумане иль пыли,
Не наклоняется к земле их лоб усталый.

Средь ночи мировой идет их череда,
Как средь извечного молчанья. В час, когда,
Столица, ты вкруг нас безумствуешь и плетью

Бьет по толпе рука жестокая страстей,

Бреду и думаю я в тупости своей:

«Что могут в Небесах искать слепцы все эти?»

ПРОХОЖЕЙ

Стоял я, оглушен толпою городской.
В глубоком трауре, торжественно немая,
Навстречу женщина мне шла, приподнимая
Волнистый край одежд прекрасною рукой

И шагом царственным, как у богинь Эллады.
А я, застыв, впивал безумно в блеске глаз
Опасных, как лазурь, где буря занялась,
Пьянящий сердце яд и смертную усладу.

Блеснула молния… за нею ночь! Сестра,
Чей взор вдруг исцелил меня от долгой боли,
Придет ли новых встреч желанная пора?

На лоне вечности? Иль никогда уж боле?

Ведь ты уходишь вдаль неведомым путем,

Ты, страсть зажегшая, ты, знавшая о том!

СКЕЛЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

I

В анатомических альбомах
На пыльных уличных лотках,
Где спит наук забытый прах,
В томах, одним червям знакомых,

В рисунках этих, где мечты
И вера прежних поколений
На скорбные изображенья
Легли печатью Красоты,

Мы видим (нас пугает эта
Эмблема жуткою тоской):
Стоят, с лопатой иль киркой,
Тела без кожи и Скелеты.

II

Вскопавшие простор полей
Немые, хмурые крестьяне,
К чему усилья вашей длани,

Мышц обнаженных иль костей?

Скажите нам, какие жатвы,
Колодники с кладбищ глухих,
Взрастить должны вы и для чьих
Амбаров хлеб должны собрать вы?

Хотите ль (мысль тем смущена!)
Нам указать такой картиной,
Что даже в яме не найти нам
Вотще обещанного сна;

Что всем нам изменила Бездна,
Что предан Смертью человек,
И нас потом из века в век,
Увы, заставит Рок железный,

В стране безводной и нагой,
С утра трудиться до заката
И налегать на край лопаты
Босой, кровавою ногой?

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер благостный, сердец преступных друг;
Как заговорщик, он приходит тихо; круг
Небесный медленно закутал он в покровы;
И прежний человек стал лютым зверем снова.

Любимый вечер, всем твоя желанна тень,
Кто может, не солгав, сказать: «За целый день
Мы наработались». — Ведь вечер утешает
Умы, которые боль жгучая терзает —
Ученого, с челом уставшим от трудов,
Рабочего, уснуть идущего под кров.

Меж тем уж демоны ночей, во мраке смрадном
Проснувшись, как дельцы спешат со взо-

ром жадным,

О ставни и навес толкаясь на лету.

При свете фонарей, пронзившем темноту,

На улицы Разврат, заманчиво продажен,

Ползет, как муравьи, из щелей всех и скважин;

Везде проводит он подземные пути,

Как враг, задумавший на приступ в ночь идти;

Кишит он посреди запятнанной столицы,

Как червь, и высосать людское сердце тщится.

Шум кухонь слышится во мраке здесь и там;

Театры всех зовут; оркестров громче гам;

Игорные дома горят, и жертв азарта

Ждут девки, шулера и крапленые карты;

И воры, с давних пор забывшие покой,

Возьмутся скоро вновь за труд опасный свой,

И взламывать начнут они бесшумно двери,

Чтоб лишний день прожить — затравленные звери!

Проснись, душа моя, во мгле вечеровой.

Да не смутит тебя столицы громкий вой.

В тот час еще сильней для всех больных страданья,

И душит темная их Ночь. Существованье

Приходит их к концу; сырая яма ждет.

Их стонами полна больница. Не придет

Иной из них опять есть ужин благовонный

С любимою женой, под лампой, в вечер сонный.

Но многим даже та услада не была

Знакома, и вотще вся жизнь их протекла!

ИГРА

На креслах выцветших жеманное со-
бранье
Прелестниц пожилых; под дугами бро-
вей
Накрашенных их взор, жертв ищущий;
бряцанье
Серег и резкий звук металла и камней.

Вкруг карточных столов нахмуренные
лица;
Провалы бледных уст и ямы мутных
глаз;
Дрожь пальцев, скрюченных жестокой
огневицей,
Обшаривающих карманы в сотый раз.

Под грязным потолком венцы люстр
запыленных
И лампы, льющие свой беспощадный
свет
На мрачные чела поэтов утомленных,
Пришедших расточить плоды тяже-

лых лет.

— Вот образ роковой, полночным сном рожденный,
Прошедший пред умом провидящим моим.
Я самого себя узнал в углу притона;
Сидел безмолвно я, завидуя другим;

Завидуя страстям и жуткому веселью
Тех старых потаскух и жадных игроков,
На карту ставивших отважно, в час похмелья,
Кто честь старинную, кто щедрый свой альков.

Завидовал в душе я людям тем, бежавшим
К последней гибели, ручьями кровь лия
В угаре бешеном, но всё ж предпочитавшим
Томленье адских мук дарам небытия.

ПЛЯСКА СМЕРТИ

Не менее живых довольная собою,

С перчатками, большим букетом и платком,

Она легко скользит, и странной худобою

Кокетки ветреной невольно взор влеком.

Такой воздушный стан дарят немногим боги.

Одежды пышные, как царственный поток,

Ласкают волнами ее сухую ногу,

Обутую в тугой, прелестный башмачок.

Сеть кружев, легшая игриво на ключицы,

Как лоно мертвых скал лобзающий ручей,

Укрыть могильные красы ее стремится

Стыдливо от чужих, насмешливых очей.

В пустых ее глазах лишь сумрак и туманы,

А череп, розами затейливо увит,

На хрупких позвонках качается жеманно.

— Наряд небытия! Смущающий нас вид!

Карикатурою назвать тебя посмеют

Те, для кого лишь плоть желанна, и чужда

Вся прелесть остова, сокрытого под нею.

Но ты мечты мои, скелет, влечешь всегда!

Пришла ли ты смутить гримасою могучей

Пир жизни? — Иль тебя желанья давних дней,

Еще томящие костяк твой грезой жгучей,

Влекут на шабаши безумные стра-

стей?

При пламени свечей, при пеньи струн согласных,

Мечтаешь ли прогнать гнетущий, страшный сон,

И хочешь ли залить потоком оргий властных

Тот ад, что сыздавна в груди твоей зажжен?

Колодец, нашими наполненный слезами,

Сосуд, вмещающий всю муку бытия,

Сквозь частый переплет боков твоих видна мне

Ненасытимая могильная змея.

Признаться, я боюсь, твои старанья мало

Оценят, и живых кокетством не пленишь.

Насмешка ведь всегда сердца людей смущала,

И властью жутких чар лишь сильных опьянишь.

От бездны глаз твоих, струящей ужас черный,

Кружится голова. Толпа земных рабов

Не сможет выдержать улыбки тошнотворной

Твоих оскаленных тридцати двух зубов!

А всё же, кто из нас не обнимал скелета?

Добычею могил кто не был увлечен,

Хоть надушенною и ярко разодетой?

Кто брезгует тобой, лишь жалок и смешон.

Неотвратимая, безносая плясунья,

Скажи танцорам тем, которым претишь ты:

«Красавцы гордые, румянитесь вы втуне.

Все тленом пахнете у грани темноты.

Живые мертвецы, назло снегам и годам

Вотще бегущие за тенью прежних нег,

Я в пляску вас втяну, всемирным хороводом

В безвестные края вас уведя навек.

От Сены зябнущей до вод горячих Ганга

Людские кружатся неистово стада,

Не видя, как трубу уж поднимает Ангел,

И зев ее раскрыт для Страшного Суда!

Не надивится Смерть, во всех пределах мира,

Твоим кривляниям, забавный род людской,

И часто, как и ты, душась обильно мирой,

С твоим безумием сливает хохот свой!»

ЛЮБОВЬ ОБМАНА

Когда, ленивый друг, идешь со мною рядом,
При пеньи музыки, по залам, в поздний час,
Походкой медленно размеренной, и взглядом
Глядишь скучающим своих глубоких глаз;

Когда твой бледный лоб блеск газа отражает
И чар болезненных на нем сияет след,
И пламя фонарей зарницы зажигает
На дне твоих очей, где чудный виден свет,

Мечтаю: как свежо ее родное тело!
На ней горят венцом огни страстей былых,
И сердце, мятое, как персик, уж созрело,
Как грудь ее, для нег искусных и свя-

тых.

Осенний ли ты плод, заманчивый и сочный?

Иль урна грустная с забытым пеплом ты?

Знакомый аромат садов страны восточной,

Подушка сонная иль яркие цветы?

Я знаю, есть глаза с обманчивой печалью,

И не скрывает тайн их скорбная краса;

Ларцы ненужные, от века пустовали

Они, хоть глубоки, как сами небеса!

Но ведь достаточно дарить одно обличье,

Чтоб сердце радовать, плененное мечтой!

Что мне до тупости твоей иль безразличья,

О Маска! — Ослеплен твоей я красотой!

«Я помню до сих пор, соседка и подруга...»

Я помню до сих пор, соседка и подруга,
Наш домик маленький и тихие досуги,
И статуи богинь, как тайную мечту
В убогой рощице скрывавших наготу,
И солнце, вечером струившее на клены
Сноп огненных лучей, в окошке преломленный,
Смотревшее на нас, в час трапезы простой,
Как любопытный глаз в лазури золотой,
И разливавшее свой отблеск златотканый
Сквозь кружева гардин на скатерть и стаканы.

«Служанка верная, внушавшая вам ревность...»

Служанка верная, внушавшая вам ревность,

Давно спит под травой, в тени немых деревьев,

Давайте отнесем немного ей цветов;

Ведь горькая судьба у бедных мертвецов,

И в дни, когда тоска октябрьская разлита

И ветер сеет лист желтеющий на плиты,

Простить им нелегко бездушие живых,

Спокойно дремлющих в постелях пуховых,

В то время как они, одни предвидя беды,

Без сотоварища, без дружеской беседы,

Скелеты старые, точимые червем,

В земле, разрыхленной снегами и до-

ждем,

Считают бег часов, забытые родными,

И треплются венки под бурями ночными.

Когда бы вдруг ко мне, под песнь шипящих дров,

Явилась тень ее и села бы без слов,

Иль в комнате моей, в морозный синий вечер,

Она бы пряталась, возжаждав новой встречи,

Покинув гроб и мир уж чуждый посетя,

Чтоб пустовать, как мать, большое уж дитя,

Что мог бы я сказать душе, любовью полной,

Увидев, как слеза течет ее безмолвно?

ТУМАНЫ И ДОЖДИ

Дни поздней осени, зимы глухие тучи,
Весны густая грязь и дождь ее плакучий,
Люблю вас и хвалю за то, что ваша мгла
Воздушным саваном мне сердце оплела.

Когда в полях шумит на воле ветр могучий
И флюгер по ночам вращается скрипучий,
Охотней, чем во дни сиянья и тепла,
Душа раскроет вдруг угрюмые крыла.

Нет слаще ничего уму, когда мученья
Его заволокли, как серый твой туман,
О бледная пора, царица наших стран,

Чем вечные твои, задумчивые тени,
— Иль разве ласки те, которыми вдвоем

Мы усыпляем боль на ложе роковом.

ПАРИЖСКИЙ СОН

I

Забыть не в силах я нетленной
И жуткой прелести картин,
Которых смертный глаз смятенный
Еще не видел ни один.

Сон полон сказочных явлений!
По прихоти мне данных сил
Я непокорное растенье
Из этих зрелищ исключил.

Творец, гордящийся твореньем,
Я созерцал свои труды
И опьянялся повтореньем
Металла, камня и воды.

Сверкали лестницы и залы
Дворцов огромных и пустых;
Струя фонтанов ниспадала
На дно бассейнов золотых;

И водопады, тяжелее
Завес хрустальных, в тех дворцах
Висели, искрясь и светлея,
На металлических стенах.

Взамен деревьев колоннады
Росли вокруг глухих прудов,
Где стыли сонные наяды,
Как женщины, у берегов.

И лентой синей, меж зеленых
Иль красных плит береговых,
Там воды рек на миллионы
Струились верст в полях немых.

Цвели там каменные дали,
И волны, чарами полны,
Как зеркала, их отражали,
Всем виденным ослеплены.

По небесам стезей безбурной
Потоки плавные текли,
Лия сокровища из урны
На лоно светлое земли.

Я мог, владыка над мечтами,

Заставить прихотью моей
Течь под алмазными мостами
Валы покорные морей.

Всё, даже черный свет, блистало,
Играя радужным огнем;
И влага славу окружала
Свою лучистым хрусталем.

Светил не ведали те страны.
Был пуст обширный небосклон.
Мир этот, сказочный и странный,
Огнем был личным освещен.

А на немое мирозданье
(Где всё для слуха замерло,
Хоть жило всё для глаз) молчанье
Ненарушимое легло!

II

Но лишь раскрыл я взор — предстала
Вся жизнь убогая моя
Передо мной, и снова жало
Забот ужалило меня.

Часы безрадостно пробили
Двенадцать раз, а за стеной
Лучи слепого полдня лили
На землю сумрак ледяной.

УТРЕННИЕ СУМЕРКИ

В казарменных дворах заря уж прозвучала,
И ветром фонари предутренним качало.

Был час, когда, слетев к подушкам их толпой,
Сны юношей томят коварною мечтой;
И, как кровавый глаз, ослепший и слезливый,
Свет лампы, побледнев, мигает боязливо;
Когда душа, в плену у тела и страстей,
Смущается борьбой светильни и лучей.
Как безутешные, заплаканные очи,
Мрак полн дрожащих слез от нас бегущей ночи;
Поэт устал писать и женщина — любить.

В домах, то тут, то там, уж начали топить.

Продажных женщин труд окончен был. Устали

От ласк они и сном звериным засыпали;

Старухи, кутая плотней в лохмотья грудь,

Вчерашнюю золу старались вновь раздуть.

Был час, когда среди холодных, мертвых теней

Терзают рожениц еще сильней мученья.

Как стон, где слышится нам боль кровавых ран,

Крик петуха вдали прорезывал туман;

Густая пелена окутала все зданья;

Во тьме больниц конец уж наступал страданий

Для тех, кто отходил, икая и хрипя.

Распутники домой шли, медленно бредя.

В одеждах розово-зеленых тихо всплыла

Дрожащая заря над Сеною унылой,

И сумрачный Париж глаза вновь протирал

— Старик трудящийся — и молот в руки брал.

ОСКОРБЛЕННАЯ ЛУНА

Луна, кумир отцов, друг вздохов их влюбленных,
С лазурной высоты, где следом за тобой
Светила шествуют лучистою толпой,
О Цинтия, фонарь убежищ потаенных,

Ты видишь ли тела любовников, сплетенных
Во сне, и свежих уст блеск чистый и живой,
Поэта рабский труд над каждою строфой
Иль в высохшей траве чету гадюк зеленых?

Накинув желтый плащ, приходишь ли тайком,
Чтоб снова целовать в безмолвии ночном
Эндимиона лоб и давние седины? —

«Сын оскудевшего столетья, вижу я,

Как мать твоя, склонив над зеркалом морщины,

Белит искусно грудь, вскормившую тебя!»

Вино

ДУША ВИНА

Раз вечером душа вина в бутылках пела:

«О бедный человек, седеющий в борьбе,

Под светлою тюрьмой и красным воском смело

Песнь, полную любви и братства, шлю тебе.

Я знаю, сколько вы, по склонам раскаленным

Холмов, должны труда и времени вложить,

Чтоб жизнью одарить и духом окрыленным

Меня, и подвиг ваш сумею оценить.

Я тайно радуюсь, когда с волшебной силой

Льюсь в горло сумрачных, измученных рабов,

И грудь согретая — желанная могила,

И слаще мне моих холодных погребов.

Ты слышишь ли вдали воскресных песен звуки?

В струе моей, дрожа, рождаются мечты.

На стол облокотясь и обнаживши руки,

Восславишь ты меня, и счастлив будешь ты.

Зажгу огонь в глазах жены твоей довольной

И бледность я сотру с лица твоих сынов,

Для слабых став их тел и мысли их безвольной

Елеем, мускулы питающим борцов.

Я снизойду в тебя мечтою виноградной

И Сеятелем снов посеянным зерном

И подарю любовь к поэзии отрадной,

Всходящей к Божеству невиданным цветком!»

ВИНО ТРЯПИЧНИКОВ

Порой под тусклыми, скупыми фонарями,
Когда дрожит стекло и вспыхивает пламя,
В квартале нищенском, по улице глухой,
Где человечество кишит перед грозой,

Тряпичник, головой нетвердою качая,
Проходит, как поэт за стены задавая,
И громким голосом, назло городовым,
Орет, отдавшись весь мечтаниям живым.

Приносит клятвы он, вновь издает законы,
Наказывает злых, излечивает стоны,
И под покровами полночной темноты
Он блеском опьянен столь редкой доброты.

Да, эти старики, чья жизнь одна забо-

та,

Стесненные нуждой, затертые работой,

Сгибающиеся под тяжестью мешков,

Набитых мусором огромных городов,

Угара винного полны, идут обратно,

Среди товарищей, деливших подвиг ратный,

Чей длинный ус висит, как бахрома знамен.

— И флаги, и цветы, и колокольный звон

Воскресли в их мечтах — державное виденье!

И в оглушительном и светлом упоеньи

От солнечных лучей, и кликов, и фанфар,

Они несут толпе победы чудный дар!

Так по сердцам людей, на время хоть веселым,

Вино течет златым, сверкающим Пактолом.

Оно прославлено их глоткою хмельной,

И властно-дивный царь — лишь милостью одной.

Чтоб горечь утопить и облегчить страданья

Унылой старости земных своих созданий,

Им Бог, раскаявшись, послал забвенье сна,

А человек к нему прибавил дар Вина.

ВИНО УБИЙЦЫ

Жены в живых нет. Цепь упала.
Стакан мне можно пить до дна.
Когда я пьянствовал, она
Мне душу криком раздирала.

Безбрежно счастие мое.
Прозрачный воздух полон света.
Тогда такое ж было лето,
Когда влюбился я в нее.

Чтоб горла жажда не сушила,
Вина я должен больше влить
В себя, чем может вся вместить
Ее глубокая могила.

Я бросил радостно на дно
Колодца труп жены убитой,
И набросал я сверху плиты.
— Забвенье будет ли дано?

Во имя прежней нашей страсти
И нас связавших клятв любви,

Чтоб примириться, как во дни
Так опьянявшего нас счастья,

В часы вечерней тишины
Я выпросил еще свиданье.
Пришло безумное созданье!
Мы все ведь странностей полны.

Она была хоть изможденной,
Но всё ж красивою. Любил
Ее я слишком. Час пробил,
Убийству черному сужденный.

Для всех я — тайна. Ни одна
Среди всех пьяных этих тварей
Не думала в ночном угаре,
Как сделать саван из вина.

Средь той толпы, мертво бездушной,
Неуязвимой, как металл,
Никто еще не обладал
Душой, всегда любви послушной,

С глухими чарами ночей,
С ее мучительными снами,
Коварным ядом и слезами,

И лязгом тягостных цепей.

Один, на воле, жгучей влагой
Я до бесчувствия напьюсь,
Потом я трупом повалюсь
И на сырую землю лягу.

И буду спать я тут, как пес.
Пускай тяжелая телега
Затормозить не сможет бега
Своих грохочущих колес

И раздерет меня на части
Иль размозжит главу мою.
Мне всё равно. На всё плюю
Я, как на Таинство Причастья!

ВИНО ОТШЕЛЬНИКА

Продажной женщины взор странный и скользящий,
Как белые лучи задумчивой луны,
Которой хочется в струях ночной волны
Омыть свою красу и лик едва дрожащий;

В руках картежника червонцев легкий звон;
Развратный поцелуй и прелесть ласки жгучей;
Аккорды музыки томительно певучей,
Как человеческих страданий дальний стон;

Всё это не сравню, бутылка огневая,
С бальзамом сладостным, который ты, благая,
Хранишь, чтоб верного поэта утолить;

Ты льешь ему мечты, и молодость, и силы,

И гордость, лучший дар, в дни бедности унылой.

— И равен тот богам, кто может нектар пить!

ВИНО ЛЮБОВНИКОВ

Сегодня боги даль зажгли нам!
Как на коне неукротимом,
Верхом помчимся на вине
Мы к дивной, сказочной стране!

Нам, как двум ангелам, томимым
Огнем, ничем не умолимым,
В лазури синего утра
Идти за призраком пора!

Качаясь медленно и плавно
На крыльях вихря и вдвоем
Восторгам преданные равно,

Сестра, мы рядом уплывем,
Направив бег без колебаний
К родным полям моих мечтаний!

Цветы зла

РАЗРУШЕНИЕ

Со мною Демон зла дружит уже давно;
Плывет он вкруг меня, как ветра дуновенье;
Дышу — и легкие сжигает мне оно,
Наполнив их огнем преступных вожделений.

Порой, любовь мою к Искусству испытав,
Приходит он ко мне, как женщина нагая,
И шепчет на ухо коварный свой устав,
Уста мои к ядам позорным приучая.

Меня он далеко от взоров Божества
Уводит, и вокруг, безлюдна и мертва,
Тоской меня томит пустыня вечной Скуки.

Мои ослеплены смущенные глаза,
И в них отражены виденья вечной муки
И Разрушения кровавая гроза.

МУЧЕНИЦА

Рисунок неизвестного мастера

Среди хрустальных ваз, среди блестящих тканей,
Средь мрамора, среди ковров,
Атласной мебели, душистых одеяний
И пышных складок их шелков,

В закрытой комнате, где воздух, как в теплицах,
Насыщен тлением сырым,
Где бледные цветы в фарфоровых гробницах
Сном засыпают неживым, —

Труп обезглавленный на ложе разливает
Рекой широкою вокруг
Кровь ярко-красную, которую впивает
Подушка, с жадностью, как луг.

Подобно призракам, что в темноте пугливый

Наш зачаровывают глаз,
Немая голова, с тяжелой темной гривой,
Где блещут жемчуг и алмаз,

Как лютик вянущий на столике тут рядом,
Лежит в сиянии лучей
И смотрит пред собой пустым, как сумрак, взглядом
Остановившихся очей.

Бесстыдно кажет стан красу свою нагую
И раскрывает предо мной
И чары тайные, и прелесть роковую,
На горе данную Судьбой;

А на ноге чулок со стрелкой золотою
Застыл, как память о былом;
Подвязка, словно глаз, сверкающий слезою,
Алмазным искрится лучом.

И тени странные пустынного покоя,
И соблазнительный портрет

С глазами жгучими и смелой наготою,
Все помнят страсти темный бред,

Преступную любовь и ласк греховно-сладких
Пиры полночною порой,
На радость ангелам дурным, летавшим в складках
Завес над сонною четой.

Но всё же, коль судить по худобе красивой
Плеча, по нежности грудей
И бедр, по талии, что с грацией игривой
Вся извивается, как змей,

Ей мало было лет! — Душа, в истоме темной
Сгорая страстью и тоской,
Раскрылась ли толпе голодной и бездомной
Желаний, губящих покой?

Осуществил ли тот, кому казалось мало
Всех жгучих ласк твоей любви,

На теле стынувшем, покорствовавшем вяло,

Мечты безбрежные свои?

Нечистый труп, ответь! Скажи, глава немая,

За косы взяв тебя рукой

И поцелуй к губам холодным прижимая,

Навек простился ль он с тобой?

— Вдали от глаз чужих, от хохота и брани,

От любопытных, злых людей,

Спи мирно, мирно спи, о странное созданье,

В могиле сказочной своей!

Супруг твой далеко, но в снах над ним всё реют

Черты бессмертного лица;

Не меньше твоего тебе он будет верен

И не изменит до конца.

ЛЕСБОС

О мать латинских игр и греческих томлений,
Лесбос, где смена ласк то сонных, то живых,
То жгуче-пламенных, то свежих, украшенье
Пленительных ночей и дней твоих златых,
— О мать латинских игр и греческих томлений,

Лесбос, где поцелуй подобен водопадам,
Без страха льющимся в земные глубины,
Бегущим, стонущим и вьющимся каскадом;
Где неги глубоки, безмолвны и сильны;
Лесбос, где поцелуй подобен водопадам.

Лесбос, где юные зовут друг друга Фрины,
Где ни одна вотще не плакала жена,

С Пафосом наравне цветешь ты, ярче крина,

И ревностью к Сафо Венера смущена.

— Лесбос, где юные зовут друг друга Фрины,

Лесбос, страна ночей мучительно-прекрасных,

Влекущих к зеркалам — бесплодные мечты —

Самовлюбленный взор дев томно-сладострастных,

Плоды ласкающих созревшей наготы;

Лесбос, страна ночей мучительно-прекрасных,

Пускай старик Платон сурово хмурит брови;

Тебе всё прощено за таинства твои,

Владычица сердец, рай наших славословий,

И за сокровища восторженной любви.

Пускай старик Платон сурово хмурит брови.

Тебе всё прощено за вечное страданье,

Сужденное всем тем возвышенным сердцам,

Которые влечет лучистое сиянье

Неведомых красот к нездешним небесам,

— Тебе всё прощено за вечное страданье!

Лесбос, кто из Богов посмеет быть судьею

Тебе и осудить твой многотрудный лоб, —

Слез, в море вылитых ручьями с их струею,

На золотых весах не взвесивши потоп?

— Лесбос, кто из Богов посмеет быть судьею?

Что нам чужих для нас людей закон и мера?

О девы гордые, архипелага честь,

Не менее другой державна ваша вера,

И запугать любовь ничья не может месть!

Что нам чужих для нас людей закон и

мера?

Меня избрал Лесбос средь всех певцов вселенной,

Чтоб ласки дев его цветущих воспевать;

Допущен с детства был я к тайне сокровенной,

Учась безумный смех и стоны узнавать.

Меня избрал Лесбос средь всех певцов вселенной,

И сторожу с тех пор со скал крутых Левката,

Как наблюдательный и зоркий часовой,

Который день и ночь ждет брига иль фрегата,

Чьи паруса дрожат в лазури огневой,

— И сторожу с тех пор со скал крутых Левката,

Чтоб знать, снисходят ли к глухим мученьям волны

И возвратят ли вновь, молитве вняв моей,

В Лесбос, простивший всё, к скале, рыданий полной,

Священный труп Сафо, ушедшей в даль морей,

Чтоб знать, снисходят ли к глухим мученьям волны!

Труп пламенной Сафо, подруги и поэта,

Затмившей бледностью Венеры лик златой.

— Глаз синих нам милей глаз черный и отсветы

Таинственных кругов, начертанных тоской

Измученной Сафо, подруги и поэта!

— Сафо, прекраснее Венеры, в час рожденья

Зажегшей над землей безбурную зарю

И лившей юности беспечной упоенье

На старый Океан, влюбленный в дочь свою;

Сафо, прекраснее Венеры в час рожденья!

— Божественной Сафо, погибшей в день

измены,

Когда, забыв обряд своих святых утех,

Она насытила красою вожделенной

Фаона, чей уход был казнию за грех

Божественной Сафо, погибшей в день измены.

И с той поры слышна нам жалоба Лесбоса.

Хоть почести воздал его святыне мир,

Он опьяняется тем криком, что утесы

Его нагие шлют ночь каждую в эфир.

И с той поры слышна нам жалоба Лесбоса!

ОБРЕЧЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ («Под лаской тусклых ламп, с дурманом сладким слитой...»)

Под лаской тусклых ламп, с дурманом сладким слитой,
На мягкие припав подушки головой,
О негах огненных мечтала Ипполита,
Срывающих покров невинности младой.

Глазами, бурею смущенными, искала
Она наивности далекий небосвод,
Как ищет вдалеке пловец, от волн усталый,
Лазури утренних, уж недоступных вод.

Ее потухший взор, в слезах от страстной муки,
Оцепенелый вид и бледные черты,
Бессильные в борьбе, раскинутые руки,
Убором было всё для томной красоты.

У ног ее, вкусив хмель неги всемогущей,

Дельфина жгучий взгляд покоила на ней,

Как будто сильный зверь, добычу стерегущий,

Отмеченную им ударами когтей.

Могучая краса, пред хрупкою красою

Склоненная, она восторженно пила

Вино своих побед, нагнувшись над сестрою,

И словно нежного признания ждала.

Найти хотелось ей во взоре жертвы бедной

Гимн упоительный осуществленных нег

И благодарности блеск дивный и победный,

Как стон медлительный, струящийся из век.

— «Что, Ипполита, мне ты скажешь, друг родимый,

И поняла ль теперь, что не должна дарить

Ты розы первые весны неповторимой

Дыханьям пламенным, могущим их спалить?

Мой легок поцелуй, как летние стрекозы,

Скользящие крылом по зеркалу воды;

А страсть любовника сметет тебя, как грозы;

Как плуг, прорежет он глубокие бразды.

Пройдет он по тебе, как тяжкие подковы

Стремительных коней, цветы твои топча.

Сестра любимая! Раскрой глаза ты снова,

Ты, жизнь моя и честь, ты, сердце и душа.

Лучом меня дари очей твоих небесных.

За взор один такой, за мед, сокрытый в нем,

Завесы подниму я новых нег чудесных

И усыплю тебя я бесконечным сном!»

Но, голову подняв, сказала Ипполита:

«Во мне ни ропота, ни сожаленья нет,

Дельфина, но тоска и боль во мне разлиты,

Как трапезы ночной и грешной горький след.

Я чую на себе гнет страха и печали.

Немые призраки теснят меня толпой

И увести хотят в немеющие дали,

К кровавым берегам, неверною тропой.

Иль совершили мы поступок беззаконный?

Коль можешь, объясни смущенный мой испуг.

От страха я дрожу под шепот твой влюбленный,

Но льнут к тебе уста невольно, милый друг.

О, не гляди, молю, таким суровым взором,

Сестра, которую навеки я люблю,

Хотя бы ты была несчастьем и позо-

ром

Моим и загубить решила жизнь мою!»

Дельфина же, тряхнув трагическою гривой,

Как Пифия, с огнем пророческим в крови,

Со взором роковым ответила ревниво:

«Кто смеет говорить об аде при любви?

Будь проклят навсегда мечтатель безрассудный,

Кто первый захотел, в наивности своей

Задачей увлечен для сердца слишком трудной,

Измерить нравственным мерилом мир страстей.

Тому, кто ночь и день, тепло и мрак холодный,

Мистически связав, задумал слить в одно,

О, верь мне, разогреть мороз груди бесплодной

На солнце пламенном любви не суж-

дено.

Коль хочешь, жениха ищи себе тупого,
Губам безжалостным ты дай к себе прильнуть,
Но, страха полная и бледная, ты снова
Раскаявшись, вернешь мне раненую грудь.

Служить лишь одному мы можем господину!»
Но вдруг, смертельных мук познавши острие,
Дитя воскликнуло: «Я чувствую глубины
Во мне бездонные — и сердце то мое,

Глубокое как ночь, горячее как лава.
Я зверя замолчать заставить не смогла
И фурии ничем не утолю кровавой,
Что с факелом в руке насквозь его прожгла.

Завесы тяжкие пусть скроют нас от мира,

Найдем в усталости покой небытия,
На лоне обрету твоем я сладость мира,
И холодом могил пусть веет грудь твоя».

О жертвы жалкие, вам нет уж исцеленья,
Спускайтесь медленно в неумолимый ад,
На дно той пропасти, где сонмы преступлений
Под ветром не с небес мучительно кишат,

Как грозы грохоча в томительном слиянье.
Бегите за мечтой по страдному пути.
Вовек не утолить вам бешеных желаний,
И муки новые вам в негах обрести.

Луч свежий не сиял у вас в глухих притонах,
Тлетворный входит дух сквозь щели темных стен,

Как пламя фонарей, в самом аду зажженных,

И разрушительный в вас проникает тлен.

Бесплодность горькая всех ваших исступлений

Лишь распаляет вас, и кровь всё горячей.

Порыв неистовых, безумных вожделений

По вашей плоти бьет ударами бичей.

Вдали живых существ скитаясь дикой глушью,

Бредите темными тропинками волков;

Примите вы судьбу, разнузданные души,

И вами созданных страшитесь вы оков.

ОБРЕЧЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ («Лежа как тихое, задумчивое стадо...»)

Лежа как тихое, задумчивое стадо,
Они не сводят глаз с безбрежности морей,
И дышат томною и горькою усладой
Дрожащие тела обнявшихся теней.

Одни, чье сердце ждет бесхитростных признаний,
В тени зеленых рощ, под пение ручьев,
Читают по складам младой любви преданья
И режут вензеля подруг в коре кустов.

Другие, парами, склоняя долу взгляды,
Проходят медленно меж жутких, темных скал,
Где дух Антония от злых посланниц Ада
И наглых их грудей спасения искал.

Одни, при пламени их факелов смолистых,

В святилищах глухих языческих богов,

Зовут тебя залить огонь страстей нечистых,

Вакх, усыпляющий боль древнюю грехов.

Другие же, давно взлюбившие мученья,

Под складками одежд сокрыв ремни бичей,

Слезу кровавую и пену исступленья

Сливают в мертвенном безмолвии ночей.

О девы, демоны, страдалицы и звери,

Кому земную явь отвергнуть удалось,

Искавшие небес то в страстных снах, то в вере,

То криков полные, то безнадежных слез,

Жалею и люблю я вас, родные сестры,

О вы, кому вослед душа стремилась в путь,

За жажду вечную, за жало боли острой
И сладкий мед любви, наполнивший вам грудь!

СЛАВНЫЕ СЕСТРЫ

Продажная Любовь и Смерть людишек снова
Влекут к себе на грудь для страстного труда,
Но лоно их, маня сквозь рваные покровы,
Осталось, как у дев, бесплодным навсегда.

Поэта мрачного, кого семьи оковы
Томят, кому дана лишь нищенская мзда,
Зовут сады кладбищ и грешные альковы
На ложе, где душа не ведает стыда.

Могила и постель, умов отрада дерзких,
Подносят в свой черед, как славных две сестры,
Нам яд ужасных ласк и жуткие дары.

Меня похорони, Любовь, в объятьях мерзких!

О Смерть, соперница ее, скорей явись

И с миртом гнусным свей свой черный кипарис!

ФОНТАН КРОВИ

Мне кажется подчас, что кровь течет рекой —
Фонтан с певучею и грустною волной.
Хоть слышу, как течет она с размерной пеней,
Но я не нахожу следов своих ранений.

Везде, как по песку арены боевой,
Бежит она, залив булыжник мостовой,
Струями утоля земные все творенья
И мир весь омрача уныло-красной тенью.

Я часто пробовал дурманами вина
Хоть на день усыпить тот страх, что силы точит;
Но тоньше слух от вин, и зорче смотрят очи!

Я стал искать в любви забвения и сна;
Но ранит иглами мучительное ложе
И кровью напоить подруг жестоких

может!

АЛЛЕГОРИЯ

То женщина с главой и грудью горделивой,

В вине ночных пиров купающая гриву.

Укус любовников, притонов едкий яд

На коже мраморной тупятся и скользят.

Разврат не страшен ей; она смеется Смерти;

И те чудовища, что косят всё на свете,

Не смеют посягать жестокою рукой

На тело, полное могучею красой,

И прелесть дивных ног и царственного стана.

Она, для страстных нег приняв закон Корана,

В свои объятия, к волнам крутых грудей,

Глазами жгучими сзывает всех людей.

И ведомо тому бесплодному кумиру,

Но всё же нужному для жизни и для

мира,

Что Красота — святой, незаменимый дар,

Способный отвратить удары грозных кар.

Она Чистилища, как Ада, не страшится,

И в час, когда над ней Ночь черная сгустится,

В лик Смерти ясный взор вперит она тогда,

Как новорожденный — без злобы и стыда.

БЛАГОДАТНАЯ

В полях без зелени и зноем опаленных,

Когда я как-то раз, по воле грез влюбленных,

Природе жалуясь, уныние влачил,

И горьких дум кинжал на сердце я точил,

Я в полдень яркий вдруг увидел над собою

Густое облако, грозившее грозою,

Где мерзостно кишел развратных бесов рой

Толпою карликов, шумливою и злой.

Оглядывать меня они с презреньем стали;

Я слышал, как они смеялись и шептали,

Кивая на меня, средь брани и острот,

Как над юродивым глумящийся народ:

— «Давайте поглядим на жалкое созданье.

Гамлета хочет он изобразить страданья,

Ерошит волосы и взорами поник.

Досадно ведь смотреть, как славный тот шутник,

Забавный скоморох, оставшийся без дела,

Лишь потому, что роль наскучить не успела,

Решил разжалобить слезой своей тоски

Орлов, кузнечиков, цветы да ручейки

И даже нам, творцам той старой мелодрамы,

Заученную речь выкрикивать упрямо».

Я мог бы (гордый дух, превыше гор взлетев,

Парил над тучами, бесовский крик презрев)

Спокойно отвернуть свой лик туманно грустный,

Когда б не видел я, что средь толпы той гнусной

— Затмивший солнца блеск, неслыханный позор! —

Царица грез моих, склонивши дивный взор,

Над мукою моей, как бесы, хохотала

И ласки грязные порой им расточала.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ВАМПИРА

Мне женщина соблазн раскрыла губ пунцовых;

Ее вздымалась грудь в плену одежд шелковых,

И, корчась как змея на медленном огне,

Душистые слова она шептала мне:

«Уста мои влажны, и мне дано уменье

На ложе усыплять все страхи и сомненья;

Все слезы осушу на бархате грудей

И старцам подарю смех радостный детей;

Для тех, пред кем хоть раз красу я обнажила,

Я заменю моря, и небо, и светила;

Я, милый мой мудрец, так опытна в страстях,

Когда мужчин душу в объятьях, как в сетях,

Иль груди отдаю укусам сладостра-

стья,

Развратна и скромна, пленяя хрупкой властью,

Что я сумела бы на ложе, полном нег,

Бессильных Ангелов поработить навек».

Когда весь мозг костей моих уж иссосала

Она и повернул я к ней свой взор усталый,

Чтоб страстный поцелуй вернуть, лежал со мной

Труп омерзительный, сочивший липкий гной.

Закрыл тогда глаза я в ледяном испуге;

Когда ж я их раскрыл под утро, от подруги

Вчерашней, что на грудь свою меня влекла,

В чьих жилах кровь рекой обильною текла,

Остался лишь скелет, разбитый и скрипящий,

Дрожавший жалобно, как флюгер, дух щемящий,

Иль вывеска, когда томит ее Борей

Дыханием своим в часы глухих ночей.

ПОЕЗДКА НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

Свободной птицею витая вкруг снастей,
Душа моя легко и радостно парила.
Под небом голубым качалися ветрила,
Как будто пьяные от золотых лучей.

Что за чернеющий там остров? — То Цитера,
Сказали нам, страна любимая певцов
И рай, обещанный мечтам холостяков.
Убоги, видите, владения Венеры.

Страна волшебных тайн и страсти край святой!
Киприды древний лик и царственное имя,
Как аромат, плывут над волнами твоими
И наполняют ум любовью и мечтой.

Растет зеленый мирт в твоих блаженных кущах;

От века преданы тебе все племена;

Ты вздохами сердец молитвенных полна,

Как ладаном от роз, в садах твоих цветущих,

Иль воркованием немолчным голубей!

Но стала в наши дни землею ты бесплодной,

Пустыней каменной, где бродит зверь голодный.

И странный мне предмет стал виден сквозь ветвей.

То не был древний храм, куда в часы молений

Шла жрица юная, влюбленная в цветы,

Отдавши грудь во власть таинственной мечты

И пеплум распахнув ночному дуновенью;

Но вот мы к берегу поближе поддались,

Птиц сонных белыми ветрилами пугая,

И виселица там означилась тройная

На синеве небес, как черный кипарис.

Птиц хищных несколько на трупе там сидело,
Деля зловонную добычу меж собой,
И каждая, как нож, вонзала клюв кривой
В кровавые куски сгнивающего тела.

Глаз больше не было. Из паха мертвеца
Тяжелые кишки стекали на колена,
И злые вороны, наевшись вдоволь тлена,
Успели оскопить ту падаль до конца.

У ног покойника завистливые звери,
Задравши морды вверх, ходили всё кругом;
Один, крупней других, казался вожаком,
Как будто там палач стоял и подмастерья.

Цитеры гражданин, дитя святых холмов,
В молчании терпел ты смертные оби-

ды

За ночи мерзкие на праздниках Киприды,

И гроба ты лишен в отмщение грехов.

Нелепый висельник, у нас одни страданья!

При взгляде на твое бессилие в тот час

К моим зубам опять, как рвота, поднялась

Рекою горькой желчь моих былых терзаний.

И пред тобой, бедняк мне близкий, я опять

Почувствовал всю злость зубов и клювов жадных

Жестоких воронов и тигров беспощадных,

Любивших плоть мою так больно раздирать.

— Сияли небеса и море было сине.

Но было для меня отныне всё в крови

И тьме. — Как в саване тяжелом, я свои

Надежды хоронил в томительной картине.

На острове твоем, Венера ждал меня

Лишь виселицы столб, да тень моих мучений.

Господь мой, силу дай Ты мне без отвращенья

Взирать, как мерзостны душа и плоть моя!

ЛЮБОВЬ И ЧЕРЕП

Старинная концовка[1]

На черепе людского рода,
Трон воздвигши свой,
Любовь сидит из года в годы
Наглой госпожой

И в воздух весело пускает
Мыльные шары,
Что, рея, словно улетают
В дальние миры.

Взвился блеск радужного шара
По стезе крутой;
Но лопнул он — исчезли чары,
Словно сон златой.

И череп каждый раз гневнее
Говорит любви:
«Когда ж нелепые затеи

---

[1] Примечания: 1

Здесь: рисунок (гравюра) в конце книги или ее части. (*прим. верстальщика*).

Кончатся твои?

Убийца! То, что так жестоко
Ты вокруг себя
Развеяла — мой мозг и соки,
Кровь и плоть моя!»

Мятеж

ОТРЕЧЕНЬЕ СВЯТОГО ПЕТРА

Привык уж Бог к волнам угроз, что в исступленьи
Бьют каждый день о брег им недоступных стран.
Как мясом и вином упитанный тиран,
Он сладко спит под шум тех яростных хулений.

Должно быть, музыкой пленительной полны
Для них стон узников и крики жертв несчастных,
Коль мало для небес тех звуков сладострастных,
И кровью истекать поныне мы должны.

Ты Гефсиманский Сад воспомни, о Спаситель,
И час, когда взывал Ты в простоте своей
К Тому, Кто тешил слух ударами гвоз-

дей,

Которые вбивал в ладони Твой мучитель.

Когда оплеван был небесный образ Твой

Тупою солдатней и кухонною чернью,

Когда почувствовал укол жестоких терний

Твой череп, в этот миг вместивший род людской;

Когда вытягивал, средь бешеных мучений,

Вес тела кисти рук, и медленно текла,

Сливаясь с потом, кровь вдоль бледного чела,

И плоть Твоя живой соделалась мишенью, —

Ты вспомнил ли тогда о блеске дивных дней,

Когда назначил Бог Тебе царем явиться,

И шествовал в толпе на белой Ты ослице

Тропою из цветов и пальмовых ветвей;

Когда, исполненный надежд и веры смелой,

Ты яро бичевал, из храма их гоня,

Презренных торгашей? — Вошло ль, острей копья,

Раскаянье тогда в Твое святое тело?

— Я мир, где во вражде деянья и мечта,

Покину без труда, презреньем насыщенный,

Пусть я, поднявши меч, паду, мечом сраженный!

Был прав Апостол Петр, отрекшись от Христа!

АВЕЛЬ И КАИН

I

Род Авелев, живи ты в славе.
Бог улыбается тебе.

Род Каинов, ютись в канаве.
Никто не вспомнит о рабе.

Род Авелев, твоим моленьям
Охотно внемлет Серафим.

Род Каинов, когда ж мученьям
Конец увидишь ты своим?

Род Авелев, твой скот не знает
Волков, и зреет твой овес.

Род Каинов, кишки взвывают
Твои от голода, как пес.

Род Авелев, согрей утробу
Огнем родного очага.

Род Каинов, узнаешь злобу
Зимы и хладные снега!

Род Авелев, плодись обильно.
Твоя казна родит детей.

Род Каинов, страшись всесильной
Мечты и пламенных затей.

Род Авелев, тебе питаться
И размножаться, как клопам.

Род Каинов, тебе скитаться
С семьей по девственным тропам.

II

Род Авелев, твой труп смердящий
Удобрит дымные поля.

Род Каинов, труд настоящий
Тебе назначила земля.

Род Авелев, в руке убогой
Булатный меч слабей дубин.

Род Каинов, восстань на Бога
И свергни Господа с вершин!

ЛИТАНИИ САТАНЫ

О ты, всех Ангелов затмивший красотою,
Молитв лишенный Бог, обманутый судьбою!

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О Князь изгнания, чей горестен удел,
Кто победителя признать не захотел,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О Царь всеведущий, кому подвластны тени,
Целитель опытный глухих людских томлений,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Кто прокаженному и париям земли
О Рае говорит уроками любви,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О ты, Надежду — дочь безумную — родивший

От Смерти, на груди твоей не раз почившей,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О ты, кто узнику спокойный взор дает,
Смущающий на казнь собравшийся народ,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О ты, кто ведает, в каких местах заветных
Ревнивый Бог сокрыл клад камней самоцветных,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Чей видит светлый глаз подвалов тайных ряд,
Где медь и золото зарытые горят,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О ты, скрывающий обрыв своею дланью
От глаз лунатика, на скользких крышах зданий,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Дарящий пьяницу упругостью костей,
Когда он весь помят подковами коней,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О ты, кто подарил селитру нам и серу,
Чтоб смесью их прервать страданья жизни серой,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Ты, ставящий клеймо, рукою палача,
На лбу жестокого, тупого богача,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Ты, кто зажег в очах и сердце дев презренных
Мечту о бедности и ранах вожделенных,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

О посох беглецов, лампада в час ночной
И заговорщиков поверенный немой,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Отец приемный тех, кого, за грех карая,

Суровый Бог Отец лишил земного рая,

О Сатана, избавь меня от долгой муки!

Молитва

О Сатана, святись и славься в небесах,

Где раньше ты царил, и в темных глубинах

Геенны, где, разбит, мечтаешь ты в молчаньи!

О, дай моей душе под Деревом Познанья

С тобою отдыхать, когда над головой

Твоей оно, как Храм, шатер раскинет свой!

Смерть

СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ

Будет аромат в наших ложах таять.
На диванах спать будем, как в гробах.
И цветы, для нас средь земного рая
Выросши, цвести будут на столах.

Пламенем живым радостно сгорая,
Двое возблестит факелов в сердцах,
Яркие лучи разом отражая
В душах наших двух, братских зеркалах.

В вечер сказочный, розовый и синий,
Мы обменимся молнией единой,
Как разлуки стон, долгий и глухой.

А потом, раскрыв двери перед нами,
Ангел оживит, с верою благой,
Тусклое стекло и погасший пламень.

СМЕРТЬ БЕДНЯКОВ

Смерть утешает нас, увы, и в жизни сирой
Она вся наша цель, и вся надежда в ней!
Она пьянящая могучесть эликсира,
Что силу нам дает вечерних ждать теней.

Сквозь иней, и снега, и злые бури мира
Она дрожащий свет на фоне черных дней.
Она убежище извечного трактира,
Где хлеб есть, и вино, и скамьи для гостей.

Смерть — Ангел, и в руке ее лежит два дара:
Невозмутимый сон и сновидений чары.
Она постель нагих, озябших бедняков.

Она венец Богов и тайные амбары,
Казна убогого, очаг его и Лары,
Врата, раскрытые в лазурь иных краев!

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКОВ

Мне долго ли еще гремушками бряцать,
Как жалкий скоморох, толпе на посмеянье?
И, чтоб хоть раз попасть в цель тайную желаний,
Колчан мой, сколько стрел я должен растерять?

Нам душу суждено в попытках истрепать
И не один кумир снести до основанья
Пред тем, как видеть нам великое Созданье,
О ком со стонами привыкли мы мечтать.

Иные не сорвут покрова со Святыни,
И тем ваятелям, в беспомощной борьбе
С тобой чело и грудь калечащим себе,

Одна надежда есть, суровая Твердыня:

Что Смерть, парящая как солнце новых дней,

Цветам их мозга даст раскрыться перед ней!

КОНЕЦ ДНЯ

Под мертвенным и мутным сводом
Жизнь буйно пляшет и поет
Шумливым, дерзким хороводом.
Но лишь над краем дальних вод

Ночь сладострастная восстанет,
И даже голод утолен,
И даже стыд души не ранит,
Поэт мечтает: «Близок сон!

Мой ум и кости, в изнуреньи,
Покоя просят у богов.
Я, с сердцем полным привидений,

Улечься на спину готов
И завернуться в ваш покров,
*Всеосвежающие тени!»

СОН МЕЧТАТЕЛЯ

Ты ведал ли, как я, отрадное томленье,
И был ли иногда ты прозван чудаком?
— Я умирал. Сплелись испуг и вожделенье
В душе мечтательной запутанным клубком.

Надежда и тоска, безмолвное смиренье…
Почти был пуст сосуд с безжалостным песком,
И горше и пьяней казался яд мученья.
Всем сердцем покидал я мир, что мне знаком.

Скучал я, как дитя, когда, забавам радо,
Оно не хочет ждать, и в тягость все преграды,
Но вдруг луч истины прорезал бытие.

Я понял: я был мертв. Меня уж окру-

жала

Ужасная заря. — Но разве это всё?

Был поднят занавес, а я всё ждал начала.

ПУТЕШЕСТВИЕ

I

Когда дитя глядит на карты и эстампы,
Вселенная вместить способна идеал.
Как велика земля при ярком блеске лампы!
При свете памяти как мир ничтожно мал!

Мы отправляемся, в мечтах сгорая смелых,
Обидой горькою и грезами полны,
И беспредельный дух в чужих морских пределах
Баюкаем мы в лад размеренной волны:

Одни хотят порвать с отчизной и позором,
Другие с ужасом дней юных, а иным —
Астрологам любви, плененным женским взором,

Постыл дурман Цирцей с их ложем роковым.

Дабы животными не стать, они впивают

Пространство, небеса горящие и свет.

Мороз кусает их, и солнце их сжигает,

Стирая медленно лобзаний прежних след.

Но те лишь странники по духу и призванью,

Кого в любую даль мечтание влечет.

Они обречены на вечные скитанья,

Хоть цели нет у них, и всё зовут: Вперед!

Те, чьи желания напоминают тучи,

Чей ум привык мечтать, как рекрут о штыке,

О странной радости, неведомой и жгучей,

Без имени еще на нашем языке!

II

Волчкам мы и мячам становимся подобны
В их беге и прыжках, и даже в нашем сне
Нас жажда нового кружит, как Ангел злобный,
Бичами мечущий светила в вышине.

Судьбою лишены мы цели постоянной.
Ей можно быть везде, но нет туда пути.
И человек, всегда надеждой новой пьяный,
Без устали бежит, чтоб отдых обрести.

Душа как парусник, к родной стране влекомый.
Там голос с палубы кричит: «Близка ли цель?»
А с мачты слышен глас, безумный и знакомый:
«Любовь… удача… честь!» Увы! Там

только мель.

Так каждый островок, увиденный в тумане,
Обещанный судьбой край давних наших грез,
Но там безмерное и буйное мечтанье
В сиянии зари находит лишь утес.

Мечтатель, в сказочный вотще влюбленный берег!
Нам бросить ли за борт, иль в цепи заковать
Матроса пьяного, искателя Америк,
От чьих безумных слов еще больней страдать.

Так грязной улицей усталый нищий бродит,
Но чудится ему блаженная страна;
Глаз очарованный везде дворцы находит,
Где только конура свечой освещена.

III

Скитальцы смелые! Чудесные сказанья
Читаем мы в глазах, глубоких, как моря.
Раскройте нам ларцы своих воспоминаний,
Где в яхонтах горят светила и заря.

Нам ездить хочется без паруса и пара.
Чтоб скуку разогнать сужденной нам тюрьмы,
Далеких стран для нас вы воскресите чары,
Пленяя повестью покорные умы.

Что видели вы там?

IV

Мы видели светила
И волны; видели мы также и пески.
И хоть нас не одно несчастье посетило,
Но мы по-прежнему страдали от тос-

ки.

Сияние зари над влагою морскою,
Сиянье городов в закатный ясный час
Зажгли в сердцах огонь, лишивший нас покоя,
И в сказочную даль всё увлекали нас.

Равнины пышные и гордые столицы
Не затмевали чар таинственной страны,
Которая порой нам в тучах вольных снится,
И были мы навек желаньем смущены!

Еще сильнее власть желаний утоленных.
Желанье, дерево, на тучной почве нег
Возросшее, сплело ты сень ветвей зеленых,
И новый с каждым днем в высь тянется побег.

Всё будешь ли расти вершиной вековою,
О Дерево? — Но всё ж для вас мы занесли

Набросков несколько заботливой рукою,

Поклонники всего, что манить вас вдали:

Мы принесли богам звероподобным дани.

Мы видели престол из радужных камней;

Дворцы прозрачные, чьи сказочные зданья

Сон разорительный для ваших богачей;

Наряды яркие, для взоров опьяненье,

На женщинах, и блеск их крашеных ногтей;

И приученных змей послушные движенья.

V

А дальше, что еще?

VI

Наивней вы детей!

Да, чтоб не позабыть нам самой главной вещи,

Хоть не искали мы нигде его улик,

Мы видели везде, как на картине вещей,

Бессмертного греха наскучивший нам лик!

Повсюду женщина, влачащая оковы,

Влюбляется в себя, позора не сознав;

Мужчина же тиран блудливый и суровый,

Сам раб своих рабынь, и муть на дне канав;

На шумных праздниках и вкус и запах крови;

И мученика стон, и хохот палача;

Отрава для владык в их всемогущем слове;

Толпа, влюбленная в удары их бича;

Как водится у нас, там несколько религий

Всем обещают рай, и предпочел Святой

Уколы власяниц и ржавые вериги

Греховной прелести постели пуховой.

Людской болтливый род, свой осквернивший гений,

Безумствует теперь, как в прежние года,

И Господу кричит в беспомощном хуленьи:

«Владыка мой и брат, будь проклят навсегда!»

Безумие избрав, все те, кто поумнее,

От стада пленного в обитель отошли,

Где опиум царит, живыми снами вея.

— Вот в чем вся летопись извечная земли.

VII

В скитаньях нас томит ряд горьких впечатлений.

Однообразен мир. Сегодня он таков,

Как завтра и вчера. В нем наше отраженье

Оазис ужаса средь мертвенных песков.

Что ж? ехать или нет? — Живи, коль
можешь, дома.

Коль надо, поезжай. Один стремглав
бежит,

Чтоб Время обмануть, дорогой незна-
комой.

Другой же прячется. Одни, как Вечный
Жид,

Скитальцы на всю жизнь. Для них на-
прасно веют

Ветрила легкие. От гибельных сетей,

Увы, им не спастись. Другие же сумеют

Преодолеть врага средь родственных
полей.

Когда ж он наконец ногой придавит
спину,

Блеснет надежда в нас. Мы закричим:
«Отчаль».

Как плыли мы в Китай в прошедшие
годины,

Под ветром радостно вперяя взоры в
даль,

Так пустимся мы в путь в глухом пол-

ночном море,

Веселые пловцы, без думы и забот.

Слышны ль вам голоса, в которых чары горя,

Поющие: «Сюда! Для вас давно растет

Душистый Лотос. Здесь волшебными плодами

Насыщены навек голодные сердца.

Идите, опьянят вас сладкими мечтами

Часы вечерние, которым нет конца».

Мы голос узнаем родимых привидений.

Возносят руки к нам забытые друзья.

«Плыви скорей ко мне, обнять мои колени, —

Сестра нам говорит, — Электра здесь твоя».

VIII

Смерть, старый капитан! Пора поднять ветрила!

Наскучил этот край, о Смерть! Плывем скорей!

Хоть небо и вода темнее, чем чернила,
Сердца, знакомые тебе, полны лучей!

Налей ты нам свой яд! Он силы снова будит
И пламенем таким жжет мозг, что мы должны
В пучину броситься, пусть Ад иль Рай то будет —
В неведомую глубь, в надежде новизны!

Е. Витковский
Швейцарская легенда

Легенда была. И рухнула. А Бог с ней. Нам остались крепкие стихи без всякой легенды.

Начнем с краткой хронологии: именно *хронология переводов Шарля Бодлера* еще двадцать с небольшим лет тому назад находилась у нас под изрядным цензурным запретом! Но воды с тех пор утекло порядочно, притом воды поэтического перевода (увы). Пора строить хронологию.

Насколько удалось установить, первым переводчиком Бодлера на русский язык был поэт-сатирик Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835–1899): всего через три года после смерти Бодлера в прославленном (*условно говоря*) журнале «Искра» появился его перевод стихотворения Бодлела «Авель и Каин». Бодлера перелагали «семидесятники» и «восьмидесятники», более же всех сделал в этом поколении весьма широко известный «П.Я.» — Петр Филиппович Якубович-Мельшин (1860–1911). Начав свою работу на каторге в 1879 году, завершил он ее изданием (1909), представившим далеко не все «Цветы зла», но лишь

100 стихотворений из книги, где их почти вдвое больше. Заметим: *никак не ранее.* К этому мы еще вернемся. В 1905 году были введены смягчения в области цензуры.

Было ясно: кто-то «Цветы зла» в своем переводе вот-вот издаст. Но «вот-вот» растянулось на столетие, да и полнота еще долго была сильно неполной, если можно так выразиться. В частности, «по всей Руси великой» устойчиво бродил слух, что перевод «П.Я» совершенно полный, и если уж делать новый, то тоже полный и поэтическими достоинствами далеко предшественника превосходящий.

«Иммортели» Эллиса содержали значительную часть перевода «Цветов зла». И рецензия на них появилась в раззолоченном московском журнале «Весы» (1904. № 4. С. 42–48) за подписью «Аврелий», что означало «Валерий Брюсов».

Приходится оставить таковую точку зрения на совести Брюсова, как и высказанное четырьмя годами ранее в журнале «Весы» (1904. N4. С. 42–48) загадочное его утверждение (под псевдонимом «Аврелий»), что «*…В русской литературе есть добросовестный и во многих отношениях ценный труд г. П.Я., переведшего более 200 стихотворений Бодлэра. Переводы г. П.Я. (Бодлэр. Стихотворения.*

Мск. 1895 г. и П.Я. Стихотворения. Том II, изд. 2-е. Спб. 1902 г.) дают русскому читателю, если не совсем полное, то достаточно яркое и верное представление о стихотворном творчестве Бодлэра. Меньшее, что должно требовать от всякого нового перевода Бодлэра, это — чтобы он не был слабее предшествовавшего. Переводы г. Эллиса этому требованию не удовлетворяют. <…> Г-н. Эллис не обладает двумя необходимейшими качествами для перевода Бодлэра: поэтическим даром и знанием французского языка. За недостатком того и другого, каждое стихотворение ставило перед ним неодолимые трудности. Он или бесшабашно расправлялся с ними „по крайнему своему разумению“, не вникая в них глубже, или хватался за те решения, которые были предложены его предшественником. Оставляем открытыми вопросы, насколько сознательны были эти позаимствования и насколько г. Эллис рассчитывал на то, что французский подлинник Бодлэра мало распространен в России».

«Весы» выходили в Москве как научно-литературный и критико-библиографический ежемесячный журнал, в книгоиздательстве «Скорпион» с января 1904 по декабрь 1909 включительно. Очевидно, что с комплектом «Весов» было зна-

комо едва ли не все литературное поколение Москвы, начавшее творческий путь до переворота 1917 года — чему автор этих строк свидетель: в начале 1970-х годов поколение это было живо и продолжало заниматься литературой, — наряду даже с теми, кто был лет на десять постарше, пообщаться я успел. Однако именно переводы А. А. Панова (СПб, 1907), Арсения Альвинга (псевдоним Арсения Алексеевича Смирнова) (СПб, 1908), и — наконец — полные «Цветы зла» в переводе Эллиса и с предисловием Валерия Брюсова (!) вышли в Москве, в издательстве «Заратустра» в 1908 году. К этому в 1909 году добавились пусть не совсем полные (100 стихотворений, но больше, очевидно «П. Я.» даже за тридцать лет трудов не смог сделать. Подобный тип поэта-переводчика не редок: проживи Константин Иванов на год меньше — его лучшее в России переложение «Фауста» Гете остало бы незавершенным, меньше, чем в сорок лет директор царскосельской гимназии на уложился бы; а трагически погибший Пантелеймон Петренко, утонувший в кипящей Куре, из 1587 строф поэмы Руставели не успел перевести 141; перевод был закончен репрессированным позднее поэтом Борисом Бриком.

В итоге, краткий отрезок времени (190–1909)

вывалил на прилавки книготорговцев **четыре** более или менее полных перевода «Цветов зла». Лучше других, как всегда, раскупали тот, на котором стояло имя наиболее известного поэта, выступившего переводчиком: в данном случае это был Эллис, а книге предпосылалось предисловие не чье-нибудь — это было предисловия вождя символистов — Валерия Брюсова. Вот несколько слов из него, заметим, от 1908 года:

«*Темами своих поэм Бодлер избрал „цветы зла“, но он остался бы самим собой, если бы написал „цветы добра“. Его внимание привлекало не зло само по себе, но Красота зла и Бесконечность зла*». Перед нами отзывы на разные книги (все же за 1904–1908 годы), автор у которых один — Эллис, не просто «Лев Кобылинский», но, на самом деле — внебрачный сын педагога, владельца частной гимназии в Москве, Льва Ивановича Поливанова — и Варвары Петровны Кобылинской. В Поливановской гимназии в разное время учились и Брюсов, и Волошин, и Белый, и Шервинский, и Позняков, и будущий муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, а в одном классе с последними — будущий переводчик «полных „Цветов зла“ Вадим Шершеневич (последний по счету, 1940 г., хотя увидел он свет лишь у нас в „Водолее“ в

2007 году, отмечая столетие издания А. А. Панова — жаль, о самом переводчике нам почти ничего не известно). Однако учился будущий „Эллис“ не у отца, а в тоже изрядно престижной 7-й московской гимназии, по окончании которой в 1897 поступил на юридический факультет Московского университета; изучал экономику, считал себя марксистом, получил в 1902 диплом 1-й степени; кстати, это означает и сдачу экзаменов по французскому, латыни (очевидно — и немецкому языку).

Откуда такая перемена взглядов и вкусов и Брюсова (да и заметил ли ее кто-нибудь?) Разгадка, как обычно, обнаружилась на поверхности.

В восемьдесят пятом томе „Литературного наследства“ (М., „Наука“, 1976, во времена еще уверенной в своих силах советской власти, была опубликована статья К. М. Азадовского и Д. Д. Максимова, полная ценных и весьма нужных при исследовании различнейших предметов статья „Брюсов и „Весы“: К истории издания“, где наша загадка очень коротко перетает быть таковой: „Заметную роль в „Весах“ второго периода играл Эллис, ***однако он сблизился с журналом лишь в середине 1907 года***“ (курсив мой — Е.В.).

Вот и разгадка: ни Адамович, ни Шершеневич

в 1907 года в литературе роли еще не играли, книгу Эллиса 1908 года в руках едва ли и потом держали, иначе мы не читали бы сейчас такие откровения:

Георгий Адамович (1930): „…Есть, во-первых, перевод П.Я. <т. е. П. Якубовича Мельшина, напоминаю — Е.В> — перевод грубоватый и бесстильный, но довольно верно передающий страстно-страдальческий тон бодлеровской поэзии. <…> Есть, затем, перевод Эллиса, насколько помнится, не полный, более изысканный, чем перевод П. Я., но зато и более вялый“. („Последние новости“, 27 февраля 1930 г., Париж.). Мечты Адамовича о полном переводе Гумилева, видимо относились к области выдачи желаемого за действительное; Гумилев, похоже, планировал сделать „Цветы зла“ общими силами „Цеха поэтов“: в разных архивах и книгах мы находим то четыре перевода Гумилева, то два — Георгия Иванова, то один — самого Адамовича и т. д. Но как было не блеснуть красным словцом (цитирую ук. соч. Адамовича): „В архивах „Всемирной литературы“ должен храниться полный перевод стихов Бодлера — вероятно, лучший из всех. Не издан он только потому, что в какой-то правительственной комиссии было признано, что

Бодлер не созвучен революции и выпуск книги несвоевремен“.

Советская власть, если смотреть с той стороны границы, виновна была не только в гибели миллионов, но и в неиздании Бодлера. „Широк русский человек, я бы сузил“, как писал Достоевский. Серийного убийцу вроде Чикатило непременно нужно еще и в подделке бюллетеня за три дня невыхода на работу обвинить. Не ищите смысла, мои соплеменники. Как было, так будет, и ничто от этого не рухнет.

Вадим Шершеневич (рукопись 1940 года, публикация 2007 года): „… Мне кажется позорным, что мы до сих пор не имеем „Цветов Зла“ на русском языке полностью, если не считать перевода Эллиса, сделанного с подстрочника, так как переводчик почти не знал французского языка“.<…> Как ни странно, но ближе всего понял Бодлера Якубович-Мельшин, сумевший за изображением грязи и мерзости рассмотреть душу поэта, не любующуюся этой мерзостью, а пугающуюся ею, бегущую от нее и взывающую к Идеалу.

Однако слабая поэтическая техника Якубовича превратила стилистически Бодлера в некую „надсониаду“, в послесловии Якубович был вынужден признать, что он прибавлял в своем переводе

чуть ли не 30–40 % строк к каждому стихотворению Бодлера, отказался от многочисленных сонетов и зачастую печатал не перевод Бодлера, а подражание Бодлеру». Еще прежде этого Пассажа Шершеневич сообщает советскому читателю, что «отдельные переводы И. Анненского, В. Иванова и Бальмонта приукрашивали Бодлера мистикой и символическими красотами».

Странное что-то тут (с *этой* стороны границы) написано. Безусловно, «Предисловие» переводчика у Шершеневича было данью советской цензуре. Осуждая работы Вячеслава Иванова и Эллиса (оба идеально знали французский… но, похоже, статья Брюсова-Аврелия от 1904 года послужила источником информации: а вот не знает Эллис французского, с подстрочника лепит! Что за четыре год можно язык и выучить… — а вот нельзя!) Какая разница: Эллис в эмиграции, Вяч. Иванов тоже, да и Бальмонт там же (это Шершеневичу и теперь зачесть надо — он писал о тех, кому ничто не грозило, значит — не сочинил ни одного доноса. Даже имен уничтоженных советской властью в этих списках нет (Н. Гумилев, Б, Лившиц, В. Тардов). Его руки чисты… а перевод вышел лишь через 65 лет после его смерти.

О ранних переводах А. Панова и Арс. Альвинга

Шершеневич, видимо, не знал. Он считал свой перевод «самым полным». Самым полным он не был — но и парижский перевод Адриана Ламбле, о котором ниже, был по полноте таким же. «Самые полные» переводы появились у нас в 2000-е годы, но не о них сейчас речь.

Среди четырех полных переводов Бодлера на русский язык затесался пятый. Шершеневич о нем, похоже, не знал, а вот Адамович знал совершенно точно. Ибо отрецензировал его довольно пространно в той самой, упомянутой выше, статье. В России этот перевод почти шестьдесят лет оставался неведом.

…В № 1 журнала «Москва» за 1986 год Иван Иванович Карабутенко опубликовал более чем сенсационную статью: «Цветаева и „Цветы зла“», где полумиллионным тиражом возвестил urbi et orbi о нахождении неизвестной книги Марины Цветаевой — «Цветы зла» в переводе Адриана Ламбле, Париж, 1929. Отчего это книга Цветаевой? Оттого, что Адриан Ламбле не мог быть никем, кроме Марины Цветаевой. Доказательства? Да ведь каждому известно, что император Адриан был любимым императором Марины Цветаевой, а кафе Ламблен в Париже (или не в Париже, но это не важно) было любимым кафе Марины Цве-

таевой (или не Марины и не Цветаевой, но это не важно) и именно там она переводила на русский язык Бодлера (или Лебедева-Кумача на французский, но уж это совсем не важно)… Словом, И. И. Карабутенко неоспоримо доказал, что Адриан Ламбле — это Марина Цветаева! Какие еще доказательства? Так вот же вам! Никакого француза по имени Адриан Ламбле не было, ***потому как быть его не могло никогда***!

Какие бы бы то ни было доказательства после этого — избыточны.

Есть, понятно, и косвенные аргументы, но разве они нужны? Аргументы Карабутенко, наподобие совпадения рифмы в первой же строфе «лампы-эстампы» переводов Ламбле 1929 года и Цветаевой 1940 года («Плавание»), ни малейшей критики не выдерживают: оригинал сам «диктует» рифмы, а тут еще и рифменная пара просто взята у Бодлера. Еще одним важнейшим доказательством своей теории считает И. Карабутенко тот факт, что ни о каком Адриане Ламбле лично ему, И. Карабутенко, ничего не известно Об этом уже сказано, и нечего повторяться. Это, в конце-то концов, аргумент неопровержимый, господа!

А. Саакянц, ответившая на сочинение Карабутенко в № 6 «Вопросов литературы» за 1986

год (тираж, увы — лишь 15 тысяч экземпляров) убедительно доказала, основываясь на тех же цитатах из перевода Ламбле, а главным образом — на фактах биографии Цветаевой, что вся сенсация — мыльный пузырь (впрочем, Н. Попова в № 8 «Нового мира» за тот же год ***пламенно поддержала*** Карабутенко). Но…

А. Саакянц справедливо посмеялась над тем, что Карабутенко назвал принадлежащую ему книгу уникальной. Однако не зря ей пришлось пользоваться в своей статье лишь теми цитатами, которые милостиво привел в своем творении Карабутенко, цитировавший — видимо, на свой вкус — строки пободлеристей. Отчего-то она оставила без внимания поистине комичные совпадения текста Ламбле с неоконченным переводом В. Левика, выполненным в 60-е — 70-е годы (почему тогда Левик — не Ламбле?..) Ответ прост: специалисту по русской поэзии (не только одной А. Саакянц) традиционно, никогда нет ни малейшего дела до истории русского поэтического перевода.

Я не так высоко ценю книги своей библиотеки, как И. Карабутенко, уникальными их не считаю. «Цветы зла» в переводе Адриана Адриановича Ламбле, выходца из Швейцарии, окончившего

Санкт-Петербургский университет, много лет стоят у меня на полке. Сам Ламбле после революции жил в Париже, затем в Пекине и Шанхае, там заболел душевной болезнью, был взят под опеку швейцарским консульством, вывезен в родные Альпы, где и умер около 1950 года. Еще в 1970 и 1971 годах на состоявшихся в Центральном Доме литераторов в Москве обсуждениях книги Бодлера, вышедшей в «Литературных памятниках», я выражал сожаление, что составители ни в какой степени не использовали ни перевод Ламбле, ни рукопись полного перевода Шершеневича, ни целый ряд известных мне отдельных переводов. «А что, мы много хорошего упустили?» — спросил меня тогда Н. И. Балашов. Не желая обидеть ученого, я ответил: «Не очень…»; готов повторить это и теперь. Научная добросовестность и поэзия не всегда идут по одному пути. На то, чтобы выяснить, кем же все-таки был Адриан Ламбле, у нас, у Валерия Вотрина и у меня — ушло более тридцати пяти лет. Придется привести две цитаты.

Первая — из вышедшей в Амстердаме книги мемуаров Валерия Перелешина (1913–1992), уже давно именуемого «лучшим русским поэтом Южного Полушария» — в Рио-де-Жанеро он прожил последние сорок лет жизни. Дата под ав-

торизованной рукописью, хранившейся у меня, недвусмысленно говорит: «1974–1975». Что поделать, типографского станка рукописи пришлось ждать двенадцать лет. Но такие авторизованные копии хранились далеко не только у меня одного. Цитировать же удобнее по нидерландскому изданию 1987 года (с. 124).

«…Знакомство с Адрианом Адриановичем Ламблэ[2], обрусевшем швейцарцем, началось еще раньше, когда он посетил меня в Пекине[3], и подарил мне первые издания *Жемчугов*, *Чужого неба*, *Костра* и *Шатра* Гумилева, привезенные им из России. *Романтические цветы*, прибавленные к *Жемчугам*, были мне дотоле незнакомы, и взволновали меня чрезвычайно. По этому поводу я тогда же написал стихотворение „При получении стихов Гумилева“, которое посвятил Адриану Адриановичу и включил в свой сборник „Жертва“.

Вскоре по приезде в Шанхай я решил отдать визит Адриану Адриановичу. Нашел его очень странным, сильно изменившимся, постаревшим.

---

[2] Примечания: 2

так! (*прим. автора*).

[3] Примечания: 3

Перелешин сообщает точную дату своего переезда из Пекина в Шанхай: «2 ноября 1943 года» (там же, с. 88). (*прим. автора*).

Говорил он только о том, что он, богатый человек, находится под непосредственной угрозой голода из-за войны. Вскоре я и узнал, что бедный Ламблэ окончательно помешался и взят на попечение швейцарским консульством, Так он и умер — богатым человеком, сошедшим с ума от того, что боялся бедности».

Аргумент на Карабутенко, увы, не подействовал — коль скоро нет такого француза, так стало быть Андриан Ламбле — это Марина Цветаева ныне, и присно, и вовеки веков, и не нужно иных аргументов, кроме того, что выпущенные в Париже в 1929 году — это книга Марины Цветаевой. Хотя опубликованный мною с иными целями в «Литературной учебе» 1986 (№ 11) полный текст всего лишь бодлеровского «Альбатроса» заронил в души поклонников Цветаевой подозрение: а могла Цветаева это написать?...

Через двадцать лет, в 2006 году, когда наш интернетный сайт «Век перевода» достаточно окреп, встал вопрос, что ж, если такого француза не было, может быть, во французской Бельгии или Швейцарии кто-то отыщется? Один из руководителей сайта, поэт, переводчик и прозаик Валерий Вотрин взялся мне помочь.

...И грянул гром. С некоторой отсрочкой, в 2009

году — но грянул неплохо. Без комментариев цитирую статью Вотрина, специально написанную для русской Википедии: отныне все концы сошлись и швы ушли в бессмертие — к столику кафе «Ламблен», где император Адриан, вероятно, по сию пору сидит и пьет свой стакан душистого перно.

Валерий Вотрин неожиданно получил из Швейцарии исчерпывающие данные от семьи Ламбле; с общего согласия привожу их здесь полностью. Предоставил их Марк Ламбле, генеалог, секретарь швейцарской Ассоциации семейства Ламбле, которому наше издательства (как и сайт «Век перевода») безгранично благодарны.

> «Адриан Адрианович Ламбле (имя при рождении Адриен Рене Альбер Ламбле, фр. *Adrien René Albert Lambelet*, 19 апреля 1884, Пезё, кантон Нёвшатель, Швейцария — 10 марта 1955, Нёвшатель, Швейцария) — русский поэт-переводчик швейцарского происхождения, автор наиболее полного из всех имеющихся переводов «Цветов зла» Шарля Бодлера.
>
> Данные о жизни поэта предельно скудны. Большую часть фактов биографии

Ламбле удалось разыскать в архивах поэту и историку поэтического перевода Евгению Витковскому. В 1986 году биография Ламбле стала предметом ожесточённых споров между сторонниками гипотезы о том, что под псевдонимом Ламбле скрывалась Марина Цветаева, и теми, кто утверждал, что Ламбле действительно существовал. Точные даты жизни поэта были установлены только в 2009 писателем Валерием Вотриным с помощью швейцарской Ассоциации семейства Ламбле. Однако биография Ламбле по сей день полна пробелов и ждёт своего исследователя.

Адриан Ламбле происходил из семьи уроженцев деревни Ле-Верьер (Les Verrières) кантона Нёвшатель. Отец — землемер; дед, Луи-Констан Ламбле, — известный швейцарский общественный деятель, адвокат.

В Россию Ламбле, возможно, приехал вслед за сестрой отца, учительницей, поселившейся в Нижнем Новгороде в 1913. В 1915 окончил юридический факультет Петроградского университета.

После октябрьского переворота покинул страну (видимо, через Владивосток), жил в Париже, где в 1929 опубликовал свой полный перевод «Цветов зла». Перевод был отмечен Георгием Адамовичем.

В начале 1940-х — в Китае: есть свидетельство поэта Валерия Перелешина о двух встречах с Ламбле в Пекине в 1943 и Шанхае в 1944. Имеются также сведения, что жена Ламбле, уроженка Минска Аполлония Кременецкая (р. 1891) (на которой он женился в 1921 в Иокогаме), скончалась в июле 1942 в Шанхае.

Ламбле посвящено стихотворение Перелешина «При получении стихов Гумилёва» из сборника «Жертва» (Харбин, 1944).

После смерти жены Ламбле заболел душевной болезнью, был взят под опёку швейцарским консулом и вывезен на родину. Остаток лет провёл в психиатрической лечебнице. Болезнь его, очевидно, ушла в ремиссию: по меньшей мере одну книгу с немецкого на французский он успел перевести.

Адамович не зря писал: «В работе Ад-

риана Ламбле есть одно большое достоинство: она сделана очень тщательно и, видимо, с большой любовью. <…> … Но в общем можно труд Адриана Ламбле охарактеризовать как удовлетворительный, во всяком случае, «почтенный». Если в этой книге и не чувствовалось особой нужды, то все-таки перелистывать и читать ее приятно. На ней лежит отпечаток общей культурности. Есть в ней слабый, но все-таки еще не окончательно исчезнувший отблеск одного из самых глубоких дарований, которые когда-либо были на земле».

Вот этот четвертый по счету полный перевод и возвращается ныне в полном объеме на вторую родину Адриана Адриановича Ламбле — в Россию.

Е. Витковский
15 октября 2009 года
Москва